

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА



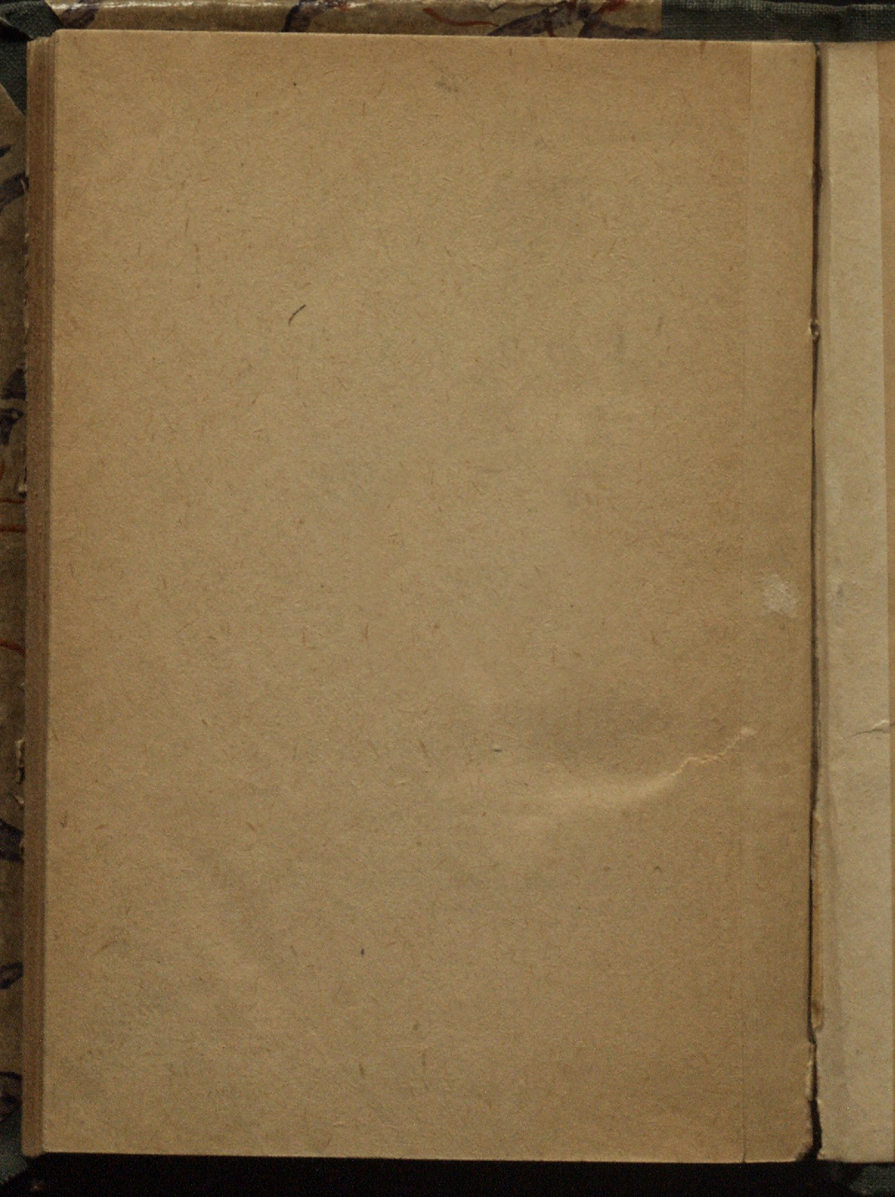
50
134

ФРАНЦИЯ
ВОЛЬТЕР
ПОВЕСТИ

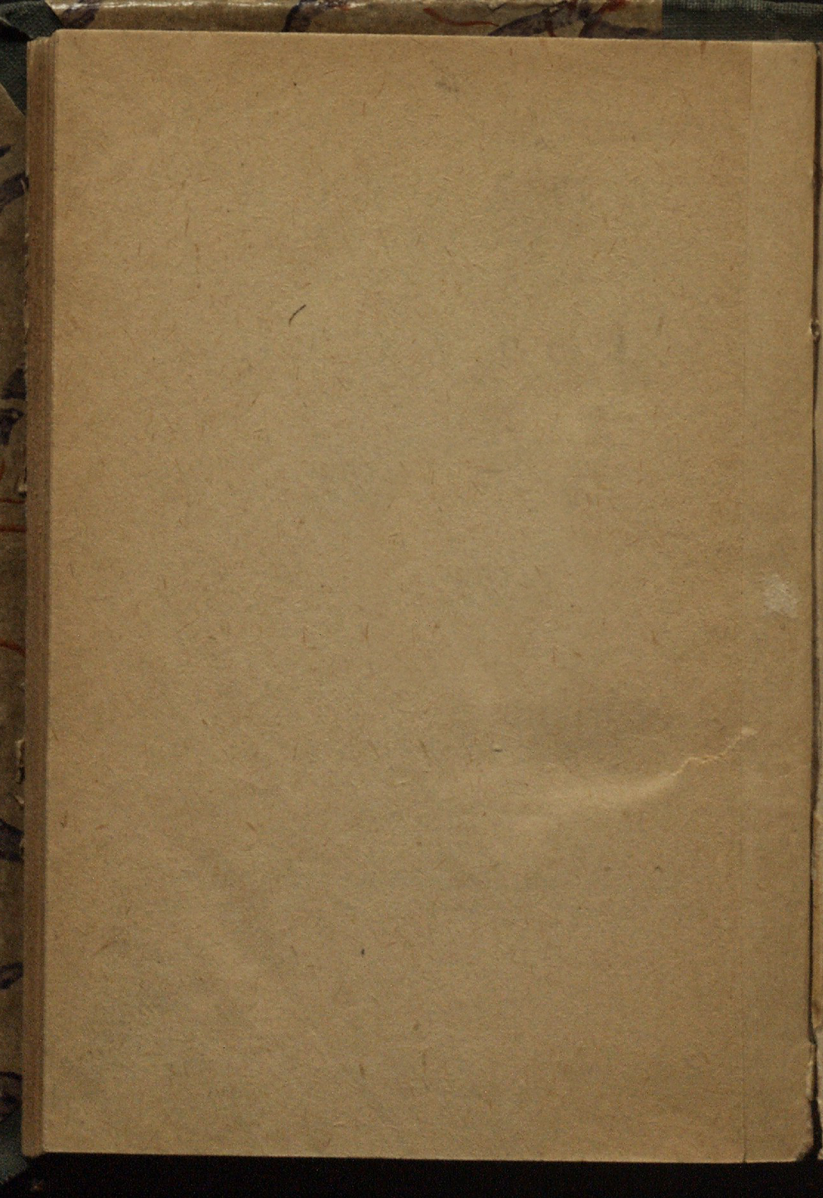
ВЫПУСК
№ 17



ПЕТЕРБУРГ
МСМХІХ







Вып. № 17.

ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА

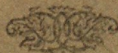
В О Л Ь Т Е Р

V O L T A I R E

— 1694 — 1778 —

П О В Е С Т И

ПОД РЕДАКЦИЕЙ
И С ПРЕДИСЛОВИЕМ
Ф. А. БАТЮШКОВА



П Е Т Е Р Б У Р Г

— 1 9 1 9 —

ИЗДАТЕЛЬСТВО „ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА“
при Народном Комиссариате по Просвещению

ПРЕДИСЛОВИЕ.

Великое благо ум в человеке. Но напрасно было бы думать, что ум приносит только одни радости. Со стороны кажется, что человек живущий умственной жизнью, пользуется всяким благополучием, довольством, спокойствием и безмятежностью, особенно по сравнению с человеком, живущим физическим трудом. Но умственные потребности зачастую мучительнее физических, так как нет средств их удовлетворить. Пытливый ум хочет знать всю правду, а правда эта не легко дается, иногда же не дается и вовсе.

Вот, что по этому поводу написал наш известный писатель М. Горький:

„Есть множество загадок и вопросов, над решением которых ум человека напряженно и непрерывно работает тысячи лет, но и до сего времени эти вопросы и загадки не решены, не разгаданы. Отчаяние людей, разум которых как бы прикован к загадкам жизни невидимой, но страшно прочной, цепью нарекло эти нерешенные вопросы „проклятыми“. К таким проклятым загадкам принадлежат вопросы о происхождении видимого нами мира, о том, как возникла на земле жизнь, насколько правильно

наши чувства воспринимают действительность, насколько точно разум формулирует все то, что дают нам чувства, достоверны ли, вообще, наши знания и суждения. Это еще не все вопросы, терзающие мозг людей, и часто они приводят человека к безнадежно-мрачному взгляду на всю жизнь *).

Мучительна и неутолима жажда человека, который пытается разрешить тайны жизни. Бесчисленные миллионы людей признали творцом и источником всех загадок бытия нашего Бога, силу, которой человек должен немотно поклониться; тысячи веровавших в Бога отвергают его, ибо трудно примирить существование зла и мучений с бытием Бога совершенного в разуме и благодати. Мозг мыслящего человека неугасимо горит на земле, стремясь осветить тьму тайн, и вот почему ученых, философов, поэтов можно назвать по истине факелами нашей жизни. Все, кто пытается создать из ткани своего мозга, путем наблюдения, изучения, работой воображения и фантазии, незблемое, для всех ясное представление о том, что такое жизнь, смерть и все явления, которые возникают между рождением и гибелью каждого из нас, все эти люди действительно заслуживают нашу искреннюю любовь, наше поклонение пред ними.

*) См. в серии "Итальянск. литер." книгу Джакомо Леонарди "Разговоры" и в ней "разговор Пелаядра с природой".

Не редко бывает, что, работая над разрешением загадок жизни, ученые как бы отрешаются от себя, впадая в такое состояние, когда личная жизнь теряет цену. Древний математик и философ, грек Архимед, работая во время осады Сиракуз над задачами геометрии, крикнул солдату, который занес копье, чтобы убить старика „Не повреди моих кругов“.

Самозабвение, отречение от личной своей жизни ради интересов науки, т. е. интересов всего человечества, — особенно часто встречается именно среди людей науки; мир знает сотни великих ученых, которые пожертвовали жизнью в поисках истины.“

Немецкий поэт Гёте образно представил это тремление человека, жаждущего познать истину, в виде юноши, стоящего одиноко на берегу моря, в глухую полночь:

В груди его скорбь, сомненьем полна голова
И мрачно волнам говорит он:
„О разрешите мне жизни загадку
Древнюю, полную муки загадку,
Уж много мудрило над нею голов —
Голов в колпаках с иероглифами,
Голов и в чалмах и в черных беретах,
Голов в париках *) и тысячи тысяч других

*) Иероглифы — письменные знаки у древних египтян. „Колпаки с иероглифами“ носил египетские мудрецы. Чалмы — головной убор мусульман. Береты — головной убор средневековых ученых. Парики стали носить в Западной Европе в XVII и XVIII веках.

умом, лучше и выше, чем простое, бессознательное, почти животное состояние человека, неспособного мыслить. Наш русский великий поэт Пушкин сказал: „я жить хочу, чтоб мыслить и страдать“, и в этом пожелании прекрасно выражено основное стремление человеческого духа. Вольтер ту же мысль выразил в рассказе о добром брамине. Браминами назывались священнослужители в Индии, исповедывающие религию бога Брами, который по сущности то же, что у нас, христиан, Бог Отец, главное лицо святой Троицы. У индусов троицу составляли: Брами, Вишну и Сива, и брамины так же не могли объяснить себе взаимоотношение этих трех божеств, как искренние христиане не могут понять учения о Святой Троице — о взаимоотношении трех лиц единого божества. Это только один пример тех бесчисленных вопросов, которые рождаются в уме человека, когда он хочет все узнать и понять, чтобы объяснить другим людям, обращающимся к нему за разъяснением той или другой тайны; но тайна остается тайной и для посвященных и для непосвященных, с той разницей, что одни мучаются своим неведением, а другие равнодушно отворачиваются от неразрешимых вопросов. Выдающийся немецкий писатель XVIII века Лессинг, высказал, что если бы ему явился Бог, предлагая на выбор, что он хочет — обладание истиной или стремление к ней, то он

все же предпочел бы стремление к истине. Так важно самому добиться решения вопросов, которые, хотя и мучат вас своей неразгаданностью, но привлекают неотразимым обаянием загадки. В этом стремлении к познанию — сущность духовной жизни человека.

На путях исторического развития, вырабатывая то, что называется цивилизацией народа, т. е. успехами в умственной и материальной жизни, улучшением условий существования, всякого рода изобретениями, клонящими к удобствам жизни и упорядочению людских отношений, люди достигли многого, но не все в этой цивилизации безупречно. На ряду с положительными достижениями, рождались также разного рода предрассудки и предубеждения; не разум заходил за разум, и вместо хорошего, получалось плохое, предосудительное, даже вредное; но люди этого не замечают или не в состоянии исправить, когда дурные навыки вошли в силу, ошибочные взгляды стали ходячими, предрассудки пустили корни. Все это представляется отклонением от здравого смысла и естественной простоты. В XVIII веке во Франции верили, что все зло в современном обществе происходит от цивилизации и что первобытный или „естественный“ человек выше и лучше людей, испорченных цивилизацией. Конечно, этот взгляд ошибочен, но если вообразить себе такого простого, природного че-

человека, [чуждого всяких предубеждений, то многое в нашей жизни покажется ему неудовлетворительным.

Со стороны виднее. Здравый смысл и природный ум вскроют многие язвы нашего общества. Вольтер и задумал представить такого человека в лице „Простяка“. Хотя он по происхождению европеец, от французских же родителей, но родился он среди дикого племени в Северной Америке, — гуронцев, ныне исчезнувших с лица земли, — и так как очень рано лишился родителей, то и жил и воспитывался сам, как настоящий гуронец, дикарь, дитя природы. Приехав в Европу, он поражен многими странностями, которые ему, как пришельцу из другого света, особенно бросаются в глаза, тогда как мы сами их уже не замечаем. Так и крестьяне в комедии Толстого „Плоды просвещения“ изумляются многим господским причудам, которые с точки зрения здравого смысла кажутся нелепыми. Исхитрились господа, у которых тоже ум за разум зашел. Но дитя природы в глазах Вольтера имеет все же мало преимуществ над цивилизованными людьми, и, чтобы стать вполне человеком, он сам должен был многому научиться, поработать над собой и приобрести нужные познания. Это ему удастся, благодаря встрече с надежным руководителем, человеком гонимым за веру, честным и бескорыстным служителем истины. Зовут его Гордоном, и

Вольтер сделал его причастным к секте явс-
нистов (см. прим. к тексту), которые в ту пору
подвергались гонению во Франции, как у нас
в свое время преследовали раскольников, ста-
рообрядцев, поборников разных учений, неугод-
ных правительственной церкви. Вера должна
быть свободна и вероисповедание каждый че-
ловек волен сам себе избирать. Если он в чем
заблуждается, то сам же поймет свою ошибку,
но насилем никого к истине обратить нельзя.
Так и Гордон, пока его преследовали, держали
в заточении и т. п., только ожесточался и
упорствовал в своих воззрениях, пускай даже
отчасти ошибочных. Но в вольной беседе с
Простяком, оценив его здравый смысл и непред-
убежденный ум, он и сам понял то, что было
ошибочного в его взглядах, а Простяк, со своей
стороны, многому научился от Гордона и, сидя
в тюрьме, прошел через ту школу знания, ко-
торого ему недоставало. Только приобрев
познания в разных отраслях наук, он стал
вполне сложившимся человеком, который мог
сделаться и полезным членом общества. Не-
счастливая участь его невесты, загубленной него-
дяем, стоявшем у власти, вскрывает недостатки
общественного строя при старом режиме во
Франции. Изобличение этих отрицательных
сторон жизни называется сатирой, и роман
Вольтера значителен так же по своему сати-
рическому направлению. Указывая на бывшие

злоупотребления среди сановников и вельмож при современном ему управлении страной неограниченною королевскою властью, Вольтер содействовал устранению всех этих неправд из жизни и подготовлял в сознании общества ту революцию, которая окончательно порвала с прежними несправедливостями, хотя новый строй еще долго и после революции не мог быть как следует налажен, да и теперь еще его нельзя считать ни во Франции, ни в других странах, вполне утвердившимся. Легче указать на то, что не годится, чем создать то, что было бы вполне пригодно. Однако, без разрушения, нет созидания.

Третья повесть о двух приятелях—Жанно и Колене—не нуждается ни в каких пояснениях. Пусть каждый, прочитав ее, сам рассудит, который из приятелей лучше и какие условия наиболее благоприятны, чтобы создать человека в настоящем значении слова. Напомним только, что воспитание, данное Жанно, очень походит на то, которое получил Митрофанушка в комедии русского писателя фон-Визина „Недоросль“. Ее также полезно прочесть, чтобы знать, что и у нас было примерно то же в ту пору, когда во Франции жил Вольтер. „Недоросль“ представлен был у нас в первый раз через четыре года после смерти Вольтера (1782 г.)

Ф. Батюшков.

О ДОБРОМ БРАМИНЕ.

В одном из моих путешествий я встретил старого брамина; это был человек добродетельный, очень умный и очень ученый; кроме того, он был богат, что еще увеличивало его добродетель, так как, не нуждаясь ни в чем, он не имел надобности кого-нибудь обманывать. Три прекрасных женщины составляли его семью, и они старались всячески утешить его. Когда он не развлекался со своими женами, он занимался философией.

Вблизи его дома, красивого, богато убранного и окруженного чудесными садами, жила старая индианка, ханжа, глупое и довольно бедное создание.

Однажды брамин сказал мне: «Я хотел бы никогда не родиться». Я спросил его, почему. Он ответил: «Сорок лет я учусь, и эти сорок лет потеряны даром: я даю наставления другим и не знаю сам ничего. Все это становится до того унижительным и вызывает во мне, в глубине души, такое отвращение, что жизнь становится для меня невыносимой: я родился и живу во времени, а между тем не знаю даже, что такое время; я нахожусь в одной точке между двумя вечностями, как говорят наши мудрецы, но у меня нет никакого представления о вечности; я состою из вещества, я мыслю, а между тем никогда не мог уразуметь, каким путем зарождается мысль; я не знаю, представляет ли

разум во мне простую способность, точно также, как ходить или пероваривать пищу, и думаю ли я головой так же точно, как беру вещь руками. Не только мне неизвестно начало мысли, но и причина движений от меня скрыта: я не знаю цели моего существования. Каждый день мне задают множество вопросов: должно ответить на все, но я не знаю в большинстве случаев, что сказать; я говорю много, но вслед за тем чувствую втайне смущение и стыд.

«Еще хуже, когда меня спрашивают, был ли Брами сотворен Вишну, или оба они вечны *). Видит Бог, я ничего об этом не знаю, и это ясно можно заметить по моим ответам.

— Ах, преподобный отец, почему зло, скажите, распространяется на земле?

«Но я точно также затрудняюсь понять это, как и те, которые спрашивают; я говорю им иногда, что все на свете устроено к лучшему; но инвалиды и разорившиеся люди верят этому так же мало, как и я сам. Я возвращаюсь домой, мучимый желанием знать и недоумением. Я беру за наши древние книги, но они увеличивают только мои сомнения. Я вступаю в беседы со своими собратьями; одни говорят мне, что надо пользоваться жизнью и смеяться над человечеством; другие думают, что они что-то знают и путаются сами в нелепых рассуждениях. Словом, все только усиливает испытываемое мною тоскливое чувство. Порой я готов придти в от-

*) Брами, Вишну и Шива—составляли троицу верховных богов, по религии древних индусов. Вольтер устанавливает параллель между первыми двумя богами и христианским догматом о Боге-Сыне и исходящем от „Бога-Отца“; догмат этот давал повод к различным толкованиям.

чайные, убеждаясь, что после всех моих исканий, не знаю ни того, откуда я, ни что я такое, ни того, куда я денусь и что со мною будет».

Поистине, состояние души этого доброго человека меня очень трогало, так как я не знал никого более рассудительного и более справедливого. Я сознавал, что чем светлее его разум и чем чувствительнее сердце, тем более он должен быть несчастен.

В тот же день я видел старуху, жившую в его соседстве; я спросил ее, огорчило-ли ее когда-нибудь то, что она не знает, как сотворена ее душа? Она не поняла даже моего вопроса. Никогда, и на минуту во всю свою жизнь, она не раздумывалась ни над одним из тех вопросов, которые так мучили брамина. Она верила от всего сердца в превращения Вишну и считала себя счастливейшей из смертных, если ей случалось достать воды из Ганга для омовения.

Пораженный благополучием этого несчастного создания, я вернулся к моему философу и сказал:— Не стыдно ли вам считать себя несчастным, тогда как старый автомат у ворот вашего дома, ни о чем не думая, живет в счастливом довольстве?

— Вы правы,—ответил он,—сто раз я повторял себе, что был бы счастлив, если бы был глуп, как моя соседка, однако, я не хотел бы иметь этого счастья.

Этот ответ брамина произвел на меня более сильное впечатление, чем все остальное; я углубился в себя и сознался, что в действительности не хотел бы сам счастья, если необходимо для этого погнупеть.

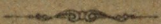
Я предложил решить этот вопрос философам, и они были такого же мнения. «Однако»,—заметил

я,—в этом образе мыслей есть, очевидно, противоречие, потому что в конце концов вопрос в том только, как быть счастливым, а не в том, иметь ли ум. Сверх того, тот, кто доволен своим существованием, вполне уверен в том, что он доволен, а тот, кто рассуждает—далеко не уверен, что рассуждает хорошо».

— «Итак,—продолжал я, — ясно, что лучше не иметь здравого смысла, чем иметь его и быть несчастным». Все согласилось с моим мнением, но я не нашел никого, кто захотел бы променять свой ум на такое счастье. Из этого я заключил, что хотя мы очень ценим счастье, но еще более ценим ум.

Рассудив, однако, хорошенько, я подумал, что предпочитать разум счастью—своего рода безумие. Как примирить, однако, это противоречие? Как и все другие;—тут есть о чем поговорить.

Перевод Н. Н.



ПРОСТЯК.

I.

О том, как приор обители Святой Горы и его сестра встретили гуронца *).

Однажды блаженный Дунстан **) (ирландец по происхождению и блаженный по роду занятий) отплыл из Ирландии на небольшой горе, благополучно доставившей его к французским берегам, в заливе Сен-Мало. Высадившись на берег, он дал горе свое пастырское благословение, а она, почтительно с ним раскланившись, возвратилась той же дорогой во-свояси, в Ирландию.

Дунстан основал на месте своей высадки небольшое приорство, назвав его обителью Святой Горы. Имя это осталось за учреждением до сих пор.

Раз вечером, а именно 15-го июля 1689 года, тогдашний приор названной обители, аббат Керкабон вышел, вместе со своей сестрой, девицей Керкабон, на морской берег подышать свежим воздухом. Приор был уже в почтенном возрасте и считался одним из самых благочестивых церковников в тамошней местности. Соседи уважали его безусловно, не менее, чем уважали в бы-

*) Приор — настоятель. Гуроницы — племя дикарей в северной Америке.

**) Дунстан — бы. Кентерберийским епископом (в Англии) и после смерти (988 г.) причислен к лику святых.

лые годы соседки. Доброй его репутации не мало способствовало то обстоятельство, что из лиц его сословия в околотке он был единственным, которого не приходилось после ужина с добрыми приятелями переносить в постель на руках. Он добросовестно читал богословские сочинения, чередуя, для разнообразия, блаженного Августина с Раблэ *), и, гоноря вообще, пользовался у всех самой безупречной репутацией.

Сестра его, девица Керкабон, несмотря на страстное желание выйти замуж, никак не могла добиться этой цели. Это, впрочем, не мешало ей сохранить свежесть молодости до сорокапятилетнего возраста. Характер ее был тих и кроток. Она очень любила удовольствия и была чрезвычайно набожна.

Приблизясь к берегу и взглянув в морскую даль, аббат сказал, обратясь к сестре:

— Увы! Вот то самое место, где наш бедный брат Керкабон взошел в 1669 году, вместе со своей женой, на палубу «Ласточки» для того, чтобы отправиться на службу в Канаду *). Еслиб он был жив, то я еще не терял бы надежды с ним увидеться.

— Ты все еще веришь, — возразила сестра, — сообщенному нам слуху, будто невестку нашу с'ели ирокезы ***). Впрочем, не случись этого

*) Блаженный Августин — знаменитый отец церкви, живший в 4-м веке. Раблэ — французский писатель, живший в 16-м столетии. Вольтер называет рядом двух писателей, противоположных по направлению их деятельности, чтобы показать, что Керкабон не был односторонним человеком, а умел чередовать душеполезные чтения с веселыми рассказами народного писателя.

**) Былая французская область в Америке; в 1669 году англичане отвоёвали ее у французов.

***) Ирокезы, дикари Северной Америки, были людоедами.

действительно, что бы могло помешать ей вернуться? Я буду плакать по ней вечно. Она была милейшая женщина, да и брат наш, при его уме, наверно сумел бы составить себе изрядное состояние.

Пока оба, расчувствовавшись, делились воспоминаниями об этих прискорбных событиях, в Ранскую бухту вошло, вместе с приливом, небольшое английское судно, нагруженное зерном. Матросы быстро прыгнули на берег, не обратив никакого внимания ни на почтенного приора, ни на его сестру, которая при виде такой неучтивости, осталась очень недовольна.

Иначе поступил какой-то очень статно сложенный молодой человек, прибывший на том же судне. Быстро прыгнув, чуть не через головы своих товарищей, он очутился мигом перед сестрой приора и дружелюбно кивнул ей головой, заменяя этим обычный церемонный поклон. Его вид и одежда невольно обратили внимание как брата, так и сестры. Голова его не была покрыта ничем, а голые ноги чуть обуты в небольшие сандалии. Длинные волосы, заплетенные в две косы, спускались по спине, а на плечах была надетая небольшая куртка, красиво обрисовывавшая тонкий, гибкий стан; вид его был воинственный и в то же время кроткий. Держа в одной руке бутылку барбадосской водки, а в другой небольшой мешок с металлическим стаканом и морскими сухарями, он, с веселым, довольным видом, предложил на вполне удовлетворительном французском языке госпоже Керкабон и ее брату угоститься этим добром, выпил сам вместе с ними, угостил их еще раз и проделал все это так мило и естественно, что брат и сестра были

положительно восхищены. Они предложили незнакомцу свои услуги. На вопрос, кто он и куда ехал, молодой человек ответил, что не имел решительно никаких определенных намерений и приехал просто из любопытства взглянуть на берега Франции, после чего тотчас же отправится назад.

Приер, заметив по выговору незнакомца, что он не мог быть англичанином, решился спросить, откуда он родом.

— Я гуронец,—ответил молодой человек.

Госпожа Керкабон, удивленная и восхищенная видом такого учтивого гуронца, пригласила молодого человека на ужин. Он не заставил повторять просьбы, и потому все трое тотчас же отправились в помещение приорства Святой Горы.

Глаза толстенькой и кругленькой девицы не могли оторваться от молодого человека, и она поминутно шептала по дороге брату:

— Какие прелестные щеки у этого здорового юноши! Они свежее роз и лилий. А-кожа! Как она нежна для гуронца!

— Это правда,—коротко отвечал приер.

Вопросы на прибывшего путешественника сыпались без конца, и он отвечал на все здраво и умно.

Слух о том, что в приорство прибыл гуронец, быстро распространился по всему околотку, вследствие чего к ужину собралось общество всего кантона. Аббат Сент-Ивского монастыря прибыл с своей сестрой, молоденькой бретонкой, очень недурной и прекрасно воспитанной девицей. Судья и сборщик податей явились с женами. Гости посадили между хозяйкой и девицей Сент-Ив. Все смотрели на него, не спуская

глаз, и есышали вопросами без конца. Гуронец не смущался нимало и смело отвечал всем. Каза-лось, он принял для своего поведения девиз до-жа Болинброка: «Ничему не удивляться». Однако, под конец, утомленный невообразимым шумом, он позволил себе скромно сказать:

— В моей стране, милостивые государи, при-нят обычай говорить один после другого. Как хотите вы, чтоб я вам отвечал, если вы мешаете мне вас слушать?

Здравомыслящее слово всегда производит впечатление, а потому водворилось на несколь-ко минут полное молчание. Скоро, однако, су-тья, бывший любопытнейшим человеком в мире, вследствие чего он всегда овладевал каждым прибывшим иностранцем, не вытерпел и, рази-нув рот шире трубы, выпалил в незнакомца во-просом:

— Как вас зовут?

— Ме я,—отвечал гуронец,— прозвали Про-стяком, и имя это осталось за мной, потому что я привык прямо говорить все, что у меня на уме, называя по именам все, что вижу.

— Каким же образом, вы, гуронец родом, вздумали приехать в Англию?

— Меня туда привезли. Я был взят в плен англичанами в честном бою, а так как англичане храбры и великодушны так же, как и мы, то мне было предложено на выбор: вернуться к своим родным, или отправиться в Англию. Я избрал последнее, потому что до страсти люблю путешествовать по чужим странам.

— Но,—продолжал докторальным тоном су-дья,—как же вы могли решиться покинуть отца и мать?

— Это,—отвечал приезжий,— потому что я никогда не знал ни отца, ни матери.

Слова эти возбудили общее сочувствие.

— Ни отца, ни матери!—повторяли все.

— Мы ему их заменим,—воскликнула хозяйка и затем прибавила, обратясь к брату:

— Как этот молодой человек интересен!

Гуронец с достоинством ее поблагодарил, но дал, однако, понять в своем ответе, что не нуждается ни в каких благодеяниях.

— Я замечаю, милостивый государь,—продолжал неугомонный судья,—что вы говорите по-французски гораздо лучше, чем это можно ожидать от гуронца.

— Меня,—отвечал приезжий,—выучил этому языку взятый нами в плен один француз, следовавший потом моим лучшим другом. Я, вообще, очень скоро выучиваюсь всему, чему захочу выучиться. Теперь же, по прибытии в Плимут, я познакомился с одним из тех ваших эмигрантов, которых вы, не знаю почему, зовете гугенотами *). Он возобновил со мной урок французского языка, и когда я достиг возможности изясняться на нем вполне свободно, то вздумал посетить вашу страну, потому что вообще всегда любил французам, особенно когда они не очень пристают с расспросами.

Аббат Сент-Ив, несмотря на такой очень прозрачный намек, не мог всетаки воздержаться, чтоб не спросить гуронца, который из трех языков,—английский, французский или гуронский ему более нравился.

*) Гугенотами называли во Франции поборников преобразования церкви, отделившихся от римско-католической церкви.

— Конечно, гуронский,—отвечал Простяк.

— Неужели?—воскликнула госпожа Керкабон.—А я всегда была уверена, что французский язык после нижне-бретонского лучший в мире.

Тут посыпался на Простяка ряд новых вопросов.

— Как,—спрашивал один из собеседников,—по-гуронски табак?

— Тай я,—было ответом.

— Как по-гуронски есть?

— Е с с е н т е н,—отвечал Простяк.

Госпожа Керкабон непременно захотела узнать, каким словом выражалось по-гуронски любить друг друга.

— Т р о в а н д е р,—ответил гуронец и при этом добавил, что словом этим выражалось решительно все, что захотели бы дать понять в подобном случае во Франции и Англии. Слово «травандер» было признано восхитительным *).

Приор, в библиотеке которого была, в числе прочих книг, гуронская грамматика, подаренная ему известным миссионером, преподобным отцом Сагаром Теодатом, немедленно сходил за нею для проверки слышанного и вернулся в полном восторге. Простяк оказался, действительно, гуронцем. Разговор перешел затем на обсуждение различия языков и заключился выводом, что не будь вавилонского столпотворения—все народы, наверно, говорили бы по-французски.

Любопытный судья, относившийся до сих пор к незнакомцу с некоторым недоверием, почувствовал теперь к нему необыкновенное уваже-

) Приведенные слова действительно гуронские.

Прич. автора.

ние, что и постарался выразить всеми способами. Простяк, однако, ничего этого не заметил.

Хорошенькая Сент-Ив пожелала узнать, какой в стране гуронцев был принят способ для признания в любви. «Стараются сделать что-нибудь очень приятное той личности, чью благосклонность желают заслужить», ответил Простяк и к этому прибавил: «Так, по крайней мере, наверно стали бы у нас вести себя все относительно вас». Ответ был встречен рукоплесканиями. Сент-Ив покраснела, но внутренне осталась очень довольна. Хозяйка Керкабон покраснела тоже, хотя не от удовольствия, а скорее от некоторой досады, что любезный ответ был сделан не ей. Впрочем, она была так добра душой, что симпатия ее к приезжему не поколебалась этим ничем. Она добродушно спросила, сколько раз случилось любить ему?

— Один раз в жизни, — было ответом. — Я любил прелестную Абакабу, приятельницу моей кормилицы. Тростники не были так стройны, лилии так белы, овцы так кротки, орлы так горды и олени так легки, как Абакаба! Раз, охотясь за зайцем милях в пятнадцати от своего дома, она встретила с одним негодяем из племени альгонкинов, живших за сто миль далее. Он грубо отнял у нее затравленного зайца: я узнал об этом, побежал, нагнал альгонкинца, свалил на землю и привез связанного по рукам и ногам к моей возлюбленной. Родные ее предлагали его съесть; но я никогда не был охотником до пиров такого рода и потому дал ему свободу, после чего он сделался моим лучшим другом. Абакаба была так тронута моим поступком, что полюбила меня с этой минуты более, чем всех прочих своих воздыхателей. Она любила бы меня навер-

но и теперь, если бы не была съедена медведем. Я, правда, отомстил за нее, убив медведя, и долго носил его шкуру, но это меня не утешило.

Сент-Ив почувствовала большое удовольствие, узнав, что Простяк любил всего один раз в жизни, и что Абакаба более не существовала. Радость свою она, однако, умела сохранить тайне, не обнаружив ничем. Зато прочие члены общества громко выражали свое сочувствие Простяку. Благородная его решимость, с какою он воспрепятствовал своим товарищам съест пленного альгонкинца, встретила в особенности всеобщее одобрение.

Несносный судья, никак не могший подавить своей страсти к расспрашиванью, пожелал узнать, какой держался гуронец религии: англиканской, галликанской или гугенотской?

— Я, — ответил Простяк, — держусь моей, точно так же, как вы держитесь вашей.

— О, Боже! — воскликнула в ужасе госпожа Керкабон. — Неужели эти нечестивые англичане не успели даже его окрестить?

— Ну, нет, ну, нет, — возразил Сент-Ив, — гуронцы наверно католики. Можно ли себе представить, чтобы преподобные отцы иезуиты не успели обратить их до сих пор?

На это Простяк возразил, что в стране его никогда никто никого не обращал, что никогда истинный гуронец не менял своих убеждений и что в языке их не существовало даже слова для выражения понятия о непостоянстве. Услышав это последнее замечание, Сент-Ив расцвела от удовольствия.

— Мы окрестим его, окрестим! — восторженно шептала госпожа Керкабон своему брату, приору. — Ты, любезный брат, совершишь обряд, а я

буду крестной матерью. Аббат Сент-Ив, конечно, не откажется принять участие в церемонии, которую мы обставим пышностью, какая только будет возможна! Подумай, как об этом будут говорить по всей Бретани и как высоко поднимется тем наше значение!

Гости от всей души поддержали это решение, не переставая повторять:

— Мы окрестим его, окрестим!

Один Простяк оказался в оппозиции, объявив, что в Англии не обращали никого силой, предоставляя каждому жить как ему было угодно. Сделанному предложению он не сочувствовал вовсе. Гуронские законы, по его словам, были ничем не хуже уставов Бретани, а, сверх того, он собирался уже на другой день в обратный путь.

Вечер кончился тем, что привезенная Простяком бутылка барбадосской водки была осушена до дна, после чего все общество разошлось по своим комнатам.

Когда Простяка отвели в назначенное ему помещение, госпожа Керкабон, вместе с приятельницей своей Сент-Ив, не могли воздержаться, чтоб не подлюбопытствовать взглянуть чрез замочную скважину, как гуронец будет ложиться спать. Они увидели, что он, стаив с приготовленной ему постели одеяло, разостлал его на полу и, растянувшись на нем во весь рост, заснул в очень живописной позе.

II.

Как гуронец, по прозвищу Простяк, был узнан своими родственниками.

Простяк встал по привычке вместе с солнцем и первыми петухами, чье пение как в Англии, так и в Гуронии зовется утренней трубой. Он ни в чем не был похож на тех неженков, которые валяются в постели до часа, когда солнце свершит уже половину своего пути, теряют драгоценное время в каком-то полусабытии, ничего не делая, и, с тем вместе, жалуется на краткость жизни.

Он обежал несколько миль по окрестностям, убил штук тридцать различной дичи, стреляя только пулями, и лишь тогда, вернувшись домой, встретил почтенного приора и его скромную сестру, вышедших в ночных колпаках подышать свежим утренним воздухом в расположенном около дома саду. Предложив им в подарок всю убитую дичь, гость затем снял с шеи какой-то маленький медальон, похожий на талисман, и, подавая его также хозяевам, сказал:

— Примите это в знак моей благодарности за ваше гостеприимство. Это самая драгоценная для меня вещь. Мне сказали, что она даст мне счастье, пока я буду носить ее на шее; но я хочу, чтобы вы были счастливы также, и потому дарю ее вам.

Приор и его сестра были чрезвычайно тронуты таким добросердечным поступком Простяка. Подарок оказался небольшим медальоном с двумя портретами, довольно плохо сделанными и

скрепленными вместе помощью тоненького ремешка.

Госпожа Керкабон спросила: «Неужели в Гуронии были живописцы?»

— Нет,—отвечал Простяк,—медальон достался мне от моей кормилицы, муж которой отнял эту вещь при нападении на отряд французов во время Канадской войны *). Вот все, что я об этом знаю.

Между тем приор, рассмотрев внимательно портреты, внезапно изменился в лице. Руки его задрожали.

— Клянусь Богоматерью Святой Горы,—воскликнул он, не будучи в силах сдерживать свое волнение,—я узнаю в этих портретах моего брата капитана и его жену!

Госпожа Керкабон, взглянув на портреты, нашла то же самое. Радость и горе охватили обоих. Они растрогались, разрыдались, передавали портреты из рук в руки по двадцати раз в минуту, сравнивали их с лицом Простяка. Восторгу и восклицаниям не было границ. Расспросы посыпались градом. Где гуронец жил? Где вырос? Когда и как портреты попали в руки его кормилицы? Получаемые ответы сверялись, факты сопоставлялись по времени со временем отъезда брата приора в Канаду, при чем оказалось, что последние о нем известия, после чего он точно канул в воду, были получены именно перед его поездкой в страну гуронцев.

Простяк объявил, что отца и матери он не знал никогда. Приор, бывший очень последовательным человеком в разрешении трудных во-

*) В 1639 году. С этого времени Канада входит в состав английских владений.

просов, заметил, что гуронцы, как известно, без-бороды, а у Простяка начинал уже пробиваться на щеках первый пушок, чем ясно доказывалось его европейское происхождение.

— От брата и сестры, — говорил приор, — не было никаких вестей как раз с 1669 года, т.-е. со времени гуронской экспедиции. А наш племянник был в этом году грудным ребенком. Явно, что жизнь его спасла гуронская кормилица и затем заменила ему мать.

После бесконечных расспросов и разговоров все в том же роде, оба, и приор и его сестра, пришли к безусловному убеждению, что гуронец был, действительно, их родной племянник. Они со слезами заключили его в объятия, а Простяк от души смеялся, никак не понимая, каким образом гуронец мог оказаться племянником бретонского приоры.

Все общество сошло вниз. Аббат Сент-Ив, считавший себя великим физиономистом *), стал сравнивать оба портрета с лицом Простяка и нашел, что глаза унаследовал он от матери, а лоб и нос от отца, капитана Керкабона. Что же до щек, то они напоминали обоих.

Девушка Сент-Ив, не выдавшая никогда ни отца, ни матери Простяка, тем не менее, стала уверять также, что он, как две капли воды, походил на обоих. Много было сделано возгласов по поводу неизъяснимых путей Провидения и чудного сцепления событий этого мира. Общая уверенность, что Простяк был именно тем, за кого его приняли, кончилась тем, что он уверовал в это сам, при чем выразился, что быть племянником

*) Т.-е. умеющий распознавать черты лица (физиономии).

почтенного приора ему не менее приятно, чем чьим бы то ни было.

Общество отправилось затем в церковь приора воздать благодарность Богу за счастливое событие. Простяк предпочел остаться дома, проведя время за бутылкой.

Между тем англичане, в компании которых он прибыл, явились объявить, что настало время отъезда.

— Вы, — ответил Простяк, — наверно не нашли здесь ни дядей, ни теток. Что до меня, то я остаюсь; возвращайтесь в Плимут. Вы можете взять все мое добро: мне больше ничего не надо, раз я стал племянником приора.

Англичане уехали, не возразив ни слова и ничуть не заботясь о том, были ли у Простяка дяди и тетки в Бретани или нет.

После того, как затейливый дядей, теткой и всей компанией молебен был отслужен, а судья истощил все свои вопросы, бурные же приступы восторга и нежности стали успокаиваться, оба приора, Керкабон и Сент-Ив, изъяснили намерение окрестить Простяка как можно скорее. Обряд этот, однако, не представлялось возможным произвести над здоровым двадцатидвухлетним малым так же просто, как это делается, когда вопрос касается детей, не имеющих никакого понятия о том, что над ними творят. Предстояло сначала вразумить и просветить новообращаемого; дело же это казалось очень трудным аббату Сент-Ив, который никак не мог допустить, чтоб человек, родившийся не во Франции, имел здравый смысл.

Приор Керкабон заметил на это, что если Простяк, его племянник, действительно, не имел счастья родиться в Нижней Бретани, то, тем не

менее, присутствие в нем ума явно обнаруживалось из всех его разговоров и ответов, и что природа, наверно, благоприятствовала ему как с отцовской, так и с материнской стороны.

Простяку задали вопрос: случалось ли ему читать какие-нибудь книги? Он ответил, что прочел в английском переводе Раблэ и, сверх того, знал наизусть кое-что из Шекспира. Книжки эти, по его словам, он нашел в каюте капитана корабля, на котором прибыл из Америки в Плимут. Прочитанное, по его словам, ему понравилось. Судья не замедлил начать вопросы о содержании прочитанных книг.

— Признаюсь вам,—ответил Простяк,—я кое-что в них разгадал, остального же не понял.

Аббат Сент-Ив, услышав это, невольно вспомнил, что и он сам, да, героично, большинство и прочих людей всегда читали только таким же образом.

— А читали ли вы иные книги, с более благочестивым содержанием?—спросил он гуронца.

— Нет, господин аббат, сочинений такого рода я в книгах моего капитана не нашел.

— Ну вот, ну вот!—расходилась, услыша это, госпожа Керкабон. Для этих безбожных англичан Шекспир, плумпуддинг, или бутылка рома значат больше, чем Пятикнижие. Мудрено ли, что им не удалось до сих пор обратить в Америке ни одной души! О, это Богом проклятый народ! И я уверена, что мы скоро отнимем у них Виргинию с Ямайкой!

После этого был призван лучший портной во всем Сен-Мало, который получил приказание одеть Простяка с головы до ног. Общество разошлось. Судья пошел искать—к кому обратиться

ся со своими обычными вопросами. Девушка Сент-Ив, уходя, несколько раз оглядывалась на Простяка, и он на каждый ее взгляд отвечал поклоном гораздо более глубоким, чем когда-либо отвешивал кому бы то ни было.

Необходимо прибавить, что судья перед уходом представил Сент-Ив своего сына, великовозрастного болвана, только-что кончившего среднюю школу, но она так занялась гуронцем, что не обратила на него никакого внимания.

III.

Гуронец Простяк обращен.

Приор Керкабон, восхищенный на старости лет таким внезапным появлением в его доме племянника, возлелеял мечту, что если ему удастся убедить Простяка принять монашеский чин, то он может прекрасно передать ему по наследству свое приорство.

Простяк был одарен замечательной памятью. Природная бретонская крепость членов усилилась в нем еще более влиянием сурового климата Канады. Что же касалось до умственных способностей, то, хотя он и не усваивал того, что видел и слышал тотчас же, но зато усвоенное раз не забывал никогда. Его восприимчивости много помогало то обстоятельство, что голова его не была начинена с детства ворохом тех глупейших сведений и правил, какими притупляют нас, вследствие чего здравые понятия укладывались в его мозгу просто и легко. Приор решился, наконец, засадить его за евангелие. Простяк проглотил данную ему книгу с удовольствием, но, не имея понятия ни о времени, ни о

месте описываемых событий, вообразил, что все это происходило в современной Бретани, вследствие чего дал торжественную клятву отрезать Каиаффе и Пилату носы, если только эти бездельники попадутся когда-нибудь в его руки.

Дядя приор, хотя и остался очень доволен таким хорошим направлением его мыслей, тем не менее, поспешил раскрыть ему его заблуждение. Признав ревность его крайне похвальной, он объяснил ему, что она была бесполезна, потому что люди, о которых шла речь, умерли уже более тысячи шестисот восьмидесяти лет тому назад. Простяк скоро выучил почти всю данную ему книгу наизусть.

Порой он задавал дяде такие мудреные вопросы, что почтенный приор ставился ими положительно втупик. Не зная, как помочь беде, решился он посоветоваться с Сент-Ивским аббатом; но тот оказался в этом деле не умней его, а потому оба решили выписать из Нижней Бретани одного ученого иезуита, поручив окончательное обращение гуронна ему.

Благодать, наконец, подействовала. Простяк изъявил желание быть обращенным, при чем выразил свое согласие подвергнуться и обряду обрезания.

— Ведь в книге, которую вы мне дали,—говорил он,—нет ни одного лица, над которым этот обряд не был бы совершен. Потому понятно, что его должен исполнить и я, и чем скорее—тем лучше.

Сказав это, он, не долго думая, послал за деревенским цырюльником и обратился к нему с требованием немедленно совершить над ним упомянутую операцию, думая сделать тем приятный

сюрприз, как почтенной тетушке Керкабон, так и всей прочей компании. Цырюльник, к которому с подобными просьбами не обращался никто, перепугался не на шутку и поднял на ноги весь дом. Можно себе представить, какое при этом произошло смятение! Тетушка Керкабон в особенности испугалась мысли, как бы племянник с его решительным характером не вздумал свершить обряда над собою сам и не натворил при этом по неопытности каких-нибудь уже совершенно непоправимых бед. Нежное сердце женщины всегда лучше поймет, где надо видеть в подобных тревожных случаях главную опасность.

Приор принялся горячо убеждать Простяка в ошибочности его взглядов. Он объяснил ему, что обряд обрезания был уже давно оставлен и что его заменили более кротким и спасительным обрядом крещения, и что законом благодати устранялся закон жестокости. Простяк, правда, спорил; но его природный здравый смысл, наконец, одержал верх, и он сознавался в своей ошибке, что, как известно, случается в Езроне очень редко между людьми в спорах. В заключение Простяк изъявил согласие окреститься, когда его родственникам будет угодно. Обряду должна была предшествовать исповедь, но тут явилось новое препятствие. Книгу, которую приор дал Простяку, он постоянно носил в кармане и, спрашиваясь с нею, объявил, что там о таком обряде не было сказано ни слова: ни один из апостолов не исповедывался. Приор, однако, доказал ему противное, указав в книге фразу: «Кайтесь в ваших грехах один другому». Простяк согласился и, отправясь тотчас же к одному францисканцу, чистосердечно сознался ему в своих грехах, но затем, поднявшись с колен, вытащил за шиве-

рот из исповедальни и пригнул сильной рукой духовного отца к земле и, поставив его на колени в то время, как сам занял на кафедре его место, обратился к нему с такими словами:

— Ну, мой милый, каяться велено друг другу! Я сознался тебе во всех моих грехах, и теперь ты не выйдешь отсюда, пока не поведаешь мне своих!

Говоря так, он очень внушительно придавил широким коленом грудь своего противника, чтобы не дать ему уйти. Францисканец завопил благим матом. На крик сбежались со всех сторон, и можно себе представить, какой эффект произвело зрелище новообращенного, применявшего так добросовестно к делу преподаанные ему правила!

Тем не менее, мысль обращения гуронца, да еще англичанина, была так заманчива, что ради нее было решено не приписывать большого значения некоторым его странностям. Нашлись богословы, объяснившие даже, что исповедь можно устранить совсем, в виду того, что крещение заменяло все.

На церемонию был приглашен епископ Сен-Мало. Польщенный, как и следовало думать, честью привести в христианство гуронца, он приехал в великолепном экипаже, окруженный блестящей свитой. Прелестная Сент-Из оделась в лучшее платье и причесалась у лучшего во всем Сен-Мало куафера, намереваясь достойно исполнить предстоявшую обязанность. Любопытный судья, конечно, явился одним из первых, в сопровождении толпы таких же, как он, любопытных зевак всего околотка. Церковь сняла великолепным убранством. Но, когда явились в ком-

нату гуронца, чтобы пригласить его на церемонию, то оказалось, что она была пуста.

Дядя и тетка обегали в безуспешных поисках весь дом и остановились, наконец, на предположении, не отправился ли Простяк, по привычке, на охоту. Гости исходили все соседние леса и окрестности, но гуронца не оказалось нигде. Он исчез без следа, точно в воду канул.

Изъявлено было даже тревожное предположение, не отплыл ли он тайно в Англию—страну, о которой всегда отзывался с особенной любовью. Приор и его сестра, прожив весь свой век в полном убеждении, что в Англии не крестили никого, дрожали за спасение души своего племянника. Рассерженный епископ готов был уехать. Приор и аббат Сент-Ив, с отчаяния чуть не рвали на себе волосы. Судья надоед распросами всем встречным. Тетушка Керкабон плакала. Сент-Ив хотя и не плакала, но глубокие ее вздохи явно обличали, какое важное значение придавала она тайнствам. Обе, взволнованные и грустные, прогуливались по длинной аллее верб и лип, окаймлявших берега речки Ренц, и вдруг заметили совершенно голую человеческую фигуру, стоящую по пояс в воде, с руками, сложенными на груди крестом. Обе, взвизгнув, убежали в кусты, однако, не удержались, чтоб не взглянуть сквозь листья на перелугавший их предмет, конечно, убедясь сперва, что никто не мог поймать их в этом порыве любопытства.

IV.

Простяк окрещен.

Приор и аббат, прибежав, осыпали Простяка вопросами: что он тут делает?

— Что делаю?—отвечал Простяк.—Да, конечно, жду крещения. Вот битый час, как я стою по горло в воде и, право, нахожу, что с вашей стороны очень не любезно морозить меня так безжалостно!..

— Милый племянник!—с нежностью обратился к нему приор.—В Нижней Бретани крестят совсем не так. Оденься сию же минуту и иди за нами.

Сент-Ив, услышав это, шепнула своей собеседнице:

— Ай! Неужели он сейчас выйдет из воды, чтобы одеваться?

Гуронец, услышав слова приора, возразил:

— Ну, нет! на этот раз вы меня уже не убедите ничем! Я много читал за последнее время и прекрасно узнал, что креститься надо именно таким образом. Доказательство—евнух царяцы Канлаки *), крещеный в ручье. Вызываю вас на пари указать мне в ваших книгах на кого-нибудь, крещеного иначе. Увидите, что не найдете. А потому объявляю вам, что и сам я буду крещен или в реке, или откажусь от крещения вовсе!

Напрасно уверяли его, что обычай с тех пор

*) Эфиопская царяца, обращенная в христианство своим евнухом (скуппом) Иудой, который, в свою очередь, стал христианином, увлеченный проповедью апостола Филиппа

изменился. Простяк, как истый бретонец и гу-
ронек, уперся на своем и в особенности настаи-
вал на примере евнуха царицы Канлаки. Тетуш-
ка Керкабон и Сент-Ив, видевшие и слышавшие
все это сквозь зелень кустов, едва могли сдер-
живать свое желание объяснить Простяку, что
уж с этим-то человеком ставить себя на одну
доску ему не было решительно никакого осно-
вания. Скромность, однако, удержала их от это-
го шага. Для убеждения Простяка явился, нако-
нец, сам епископ, что, конечно, имело большое
значение; но ничего не добился и он. Простяк
заспорил и с ним.

— Укажите мне,—повторял он,—в книгах мо-
его дяди хоть одного человека, который был
бы крещен не в реке, и тогда я соглашусь испол-
нить все, что вы пожелаете.

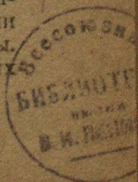
Тетушка, не зная в отчаянии, что предпринять,
вспомнила, что Простяк, здороваясь с гостями,
всегда с особенным чувством и вниманием кла-
нялся прелестной Сент-Ив. Видя, что знаков та-
кого доброжелательного уважения не достапа-
вался от него даже сам епископ, тетушка взду-
мала привлечь эту очаровательную особу к сво-
ему плану действия и обратилась к ней с прось-
бой повлиять на Простяка с целью убедить его
окреститься по обычному Бретонскому обряду.
Она была вполне убеждена, что крещение, как
он того хотел, погружением в воду никогда не
сделало бы из него истинного христианина.

Сент-Ив, получив такое лестное и важное по-
ручение, зарделась от восторга. Скромно подой-
дя к Простяку и дружески взяв его за руку, она
спросила: «Согласитесь ли вы сделать что-ни-
будь для меня?», и при этих словах очарова-
тельно подняла на него, до того скромно опу-

шенный, взор. — «Все, что вы пожелаете! Все, что вы прикажете!» — крикнул в ответ Простяк. «Ведите мне окреститься в воде, в огне, в крови — я не останюсь ни перед чем!» Оказалось, таким образом, что Сент-Ив двумя-тремя словами достигла цели, которой не могли добиться ни убеждения приора, ни доводы судьи, ни даже глубокомысленные увещания епископа. Успех этот привел молодую особу в восторг, но она еще не предвидела, что могло из того выйти.

Обряд, наконец, был совершен со всей подобающей торжественностью и должным церемониалом. Дядя и тетка уступили честь быть восприемниками аббату Сент-Ив и его сестре. Молодая крестная мать сияла удовольствием. Она не знала, к чему обязывал ее этот титул и какие плачевные выйдут из того последствия.

Так как все подобного рода церемонии оканчиваются непременно парадным обедом, то обычно этот был соблюден и в настоящем случае. Общество село за стол тотчас по окончании обряда. Посыпались всевозможные шутки и остро-ты. Приор привел изречение Соломона, сказавшего, что вино веселит сердце человеческое. Епископ подтвердил справедливость этих слов, сославшись на патриарха Иуду, который даже своего осла привязывал не иначе, как к виноградным кустам и обмакивал конец плаща в виноградный сок. Сожалели о том, что Бог не одарил Нижнюю Бретань климатом, который позволял бы разводить виноград. Всякий старался сказать что-нибудь любезное по адресу Простяка и его крестной матери. Судья, вечно задававший вопросы, спросил Простяка, твердо ли он решился соблюдать произнесенные обеты. «Как же иначе! — отвечал тот. — Ведь я сделал их»



очаровательной Сент-Ив!» Разгорячась вином, он беспрестанно провозглашал тосты за ее здоровье и, наконец, сказал, что еслиб она окрестила его собственной ручкой, то даже холодная, налитая на его макушку, вода обожгла бы его, как кипяток. Судья, плохо знавший обычай канадцев выражать задушевные мысли аллегориями *), нашел это выражение слишком поэтичным. Крестная мать осталась им чрезвычайно довольна.

Виновник торжества получил имя Геркулеса **). Епископ возбудил некоторое сомнение, относительно имени этого патрона, совершенно, по его словам, ему неизвестного, но ученый иезуит поспешил объяснить, что это был замечательный человек, прославившийся совершением двенадцати подвигов, достойных имени чудес. Был им совершен еще тринадцатый, но о нем иезуит не считал для себя удобным говорить. Какой-то шутник из присутствовавших в обществе шепнул на ухо соседям (а, следовательно, и всем гостям), что подвиг этот состоял в чудесном обращении пятидесяти девиц в женщины, совершенном в короткий срок одной ночи. Какой-то шутник, присутствовавший на обеде, стал распространяться об этом чуде. Дамы потупили глаза, но, взглядывая при этом на мужественную фигуру Простяка, невольно приходили к мнению, что новый Геркулес был, наверно, способен с честью поддерживать имя такого славного патрона.

*) Иносказаниями.

**) Имя греческого героя, полубога, обладавшего неограниченной физической силой.

V.

Простяк влюблен

Нельзя утаить, что с момента крестин престарелая Сент-Ив не переставала лелеять мечту — устроить какую-нибудь новую церемонию, в которой она и Простяк явились бы пред почтенным епископом также в ролях главных действующих лиц. Надо, впрочем, прибавить, что воспитанная в глубоком благочестии, она не давала воли даже собственным мечтам заходить в подобногo рода вопросах далее самых чистых, скромных предположений. Но, тем не менее, если у нее невольно вырывался при этом вздох, взгляд или слово, то сквозь них довольно ясно сквозили чувства, какими эти взгляды, вздох или слова были вызваны. Она была скромна и благоразумна, но вместе с тем жива и чувствительна.

Конец церемонии и последовавший затем отъезд епископа не прекратили встреч Сент-Ив с Простяком. Встречи эти происходили как-то сами собой, без всяких стараний с той или другой стороны. Встречаясь, они сами не знали, о чем будут говорить. Но дело скоро кончилось тем, что Простяк признался в своей страстной к ней любви, прибавив, что прежняя безумная его любовь к Абакабе не значила в сравнении с настоящей ничего. Сент-Ив со свойственной ей скромностью попросила его немедленно сообщить об этом дяде и тетке, сама же обещала поговорить со своим братом-приором. В общем их согласии, по ее словам, нечего было сомневаться.

Простяк возразил, что он решительно не видел никакой надобности испрашивать советов и

согласия третьих лиц в делах, по которым прекрасно договорились до конца обе заинтересованные в этих делах стороны. Это, по его словам, было глупо и смешно.

— Ведь я,—говорил он,—не спрашиваю ничего согласия, когда хочу есть, спать или охотиться. В любви, пожалуй, точно, не лишнее заручиться согласием особы, которую любишь. Но ведь я влюблен не в моих дядю и тетку. Так для чего же соваться в это дело им? Потому я полагаю, что и вам можно прекрасно обойтись в этом вопросе без всяких разговоров с вашим братом.

Можно легко себе представить, что прекрасная бретонка пустила в ход все тонкости ума, чтобы внушить Простяку правила благоприличия. Она даже начинала сердиться, но, впрочем, скоро успокоилась. Бог знает, чем бы кончился этот разговор, если бы ему не положил предела аббат, об'явив сестре, что пора было отправляться домой. Простяк, видя, что дядя и тетка были очень утомлены церемонией дня, не стал с ними разговаривать на ночь и предоставил им мирно отойти ко сну; сам же провел всю ночь, сочиня стихи для своей возлюбленной. Известно, что нет человека в мире, которого любовь не сделала бы поэтом.

На другой день утром дядя-приор, приняв вид некоторой торжественности, в то время, как тетка сидела с глубоко растроганным видом, обратился к Простяку с такой речью:

— Да будет воздана хвала небу, любезный племянник, за то, что ты бретонец и стал христианином! Но этим дело не должно кончиться. Я, как ты видишь, уже в летах, а брат мой оставил нам в наследство лишь самый ничтожный

ключек земли, но мне приносит кое-что мое при-
орство, потому я полагаю, что, еслиб ты согла-
сился сделаться поддьяконом, то я мог бы пере-
дать тебе со временем мою должность, и тогда
ты зажил бы в полном довольстве, делая нашу
старость.

— Любезный дялюшка,—возразил на это Про-
стяк,—я желаю вам жить, как можно дольше.
Что же касается до поддьяконства, то, решитель-
но не зная, что это за вещь, я не могу и судить,
как следует, о ваших предположениях. Заявляю
вам, впрочем, что, доверяя вам вполне, я согла-
шаюсь быть не только поддьяконом, но всем,
чем вам будет угодно, с одним лишь условием,
чтоб вместе с поддьяконством и приорством мне
была отдана прелестная Сент-Ив.

— Ай!—вскрикнул пораженный приор.—Что
ты сказал? Значит, ты ее любишь.

— Да, дялюшка.

— Но это невозможно! Ведь твоя на ней
женитьба не может состояться никаким спосо-
бом!..

— Напротив, может прекрасно: мы с ней уже
сговорились, она не только пожала мне руку, но
обещала, что меня просватают, а потому само
собою разумеется, что я на ней женюсь!

— Но это, повторяю,—кричал приор,—невоз-
можно! Ударить по рукам в таком деле со своей
крестной матерью—величайший грех! Жениться
на крестной матери нельзя! Это запрещено как
божескими, так равно и человеческими законами.

— Чорт побери, дялюшка!—возразил на это
Простяк.—Вам, кажется, угодно надо мной смеять-
ся! Да почему же, скажите, нельзя жениться на
своей крестной матери, если она молода и мила?
Сколько я ни читал книг, в них не сказано ни

слова, будто может выйти что-нибудь дурное из того, что молодая девушка выйдет замуж за человека, которого помогла окрестить. Я начинаю замечать, что вы часто не делаете того, что именно велит делать ваши книги, и, напротив, запрещаете то, о чем в них не сказано ни слова. Это, признаюсь вам, наконец, начинает меня бесить, и я решительно объявляю вам, что если мне не отдадут прелестную Сент-Ив добровольно, то я похищу ее и женюсь на ней силой!

Приор, услышав это, растерялся окончательно, а сестра его расплакалась.

— Милый!—обратилась она к брату.—Мы никак не можем допустить, чтобы племянник погубил свою душу таким ужасным поступком. Может быть, святой Папа окажет ему снисхождение и позволит ему быть счастливым с той, которую он так полюбил.

Простяк, услышав это, бросился гетке на шею.

— Где,—воскликнул он,—где, скажите, живет этот милый человек, так благосклонно покровительствующий молодежи в любовных делах? Я побегу к нему, не теряя ни минуты.

Когда Простяку объяснили, кто такой был Папа, то изумлению его уже решительно не было пределов.

— Да, ведь обо всем этом,—воскликнул он,—опять-таки не сказано ни слова в ваших книгах! Я путешествовал, переплыл океан, высадился на ваших берегах, и теперь мне велит покинуть очаровательную Сент-Ив для того, чтобы испрашивать у кого-то, живущего где-то на Средиземном море, за тридевять земель отсюда, позволение ее любить! Ведь я не знаю даже языка, на котором говорит ваш Папа; так как же прикажете вы мне исполнить эту нелепейшую глуп-

пость? Нет, вижу, что надо действовать решительнее, и потому объявляю вам, что бегу немедленно в дом аббата (до него, встать, не более одной мили) и женюсь на прекрасной Сент-Ив сегодня же без всяких позволений.

В эту минуту вошел судья и, поймав конец речи Простяка, по обыкновению, полюбопытствовал узнать, куда он так спешит.

— Жениться! — брякнул ему на это в ответ Простяк.

Через четверть часа он добежал до дома аббата и узнал, что Сент-Ив была еще в постели. Тетушка Керкабон по уходе его со вздохом шепнула приору:

— Ах, мой милый! никогда не удастся тебе сделать племянника подьяконом.

Судья, догадавшись, в чем было дело, сострисл кислую физиономию. Он прочил Сент-Ив за своего сына, который, по общему мнению, был глупее и несноснее, чем сам отец.

VI.

Простяк, прибежав к своей возлюбленной, приходит в неистовство.

Прибежав в дом аббата и спросив у старой служанки, где была комната Сент-Ив, Простяк, не долго думая, вышиб дверь ногой и бросился к постели, на которой почивала красавица. Сент-Ив, проснувшись, закричала в ужасе:

— Как! Это вы? Вы?.. Что вы хотите делать?

— На вас жениться! — крикнул Простяк и, наверно, тут же исполнил бы свое намерение, еслиб невеста не воспротивилась всеми силами

и доводами, какие ей диктовала ее благовоистинность.

Но Простяк не признавал уверток в делах, которые казались ему честными и справедливыми. Такого рода выходки казались ему глупыми и смешными.

— Моя первая возлюбленная Абакаба,—кричал он,—никогда не поступала таким образом! Вы обещали принадлежать мне. Так что же теперь пятитесь назад? Ведь это бесчестно! Но я покажу вам, как должно держать слово, и научу быть порядочной во что бы то ни стало!

Средства, которыми Простяк обладал для поддержки в подобном случае своих взглядов на порядочность, были вполне достойны имени его патрона, Геркулеса, а потому немудрено, что он пустил бы их в дело полным ходом, если бы Сент-Ив, чьи взгляды на этот предмет не были так радикальны, не подняла такого неистового крика, что на него сбегался весь дом.

Аббат, его домоправительница, старый ханжа-лакей и сосед-священник из ближнего прихода очутились в один миг, с разинутыми от изумления ртами, на месте события. Энергия Простяка несколько укротилась при этом виде.

— Эй, ей! Любезный сосед! Что вы тут делаете?—спросил аббат.

— Что делаю?—возразил Простяк,—исполняю свою обязанность. Данное слово для меня свято, и я не отрекусь от него никогда!..

Сент-Ив, оправясь, густо покраснела. Простяка увели в другую комнату. Аббат принялся его усовещивать, представляя ему всю чудовищность его поступка. Простяк защищался, ссылаясь на законы природы, которые были ему прекрасно известны. Аббат начал красноречиво

ему доказывать, что положительный закон должен стоять выше законов природы, и что, если бы в людских обществах не соблюдались установленные правила, то законы природы привели бы к повсеместному разбойничеству.

— Так, например,—говорил он,—для того, чтобы жениться, необходимо пройти чрез целый ряд правил, исполняемых нотариусами, священниками, свидетелями, судами и нужен ряд разрешений.

Простяк возразил обычным ответом дикарей в подобных случаях:

— Плоха, должно быть, ваша честность, если надо обставляя такими гарантиями исполнение данных вами обещаний!

Аббат, услышав такое возражение, встал вступник.

— Я сознаюсь, конечно, — сказал он, — что шуты найдутся среди нас, точно так же, как они наверное оказались бы и среди гуронцев, если бы соотчины ваши жили в больших городах; но рядом с дурными людьми есть также истинно честные и просвещенные. Законы пишутся ими. Чем человек развитее, тем охотнее и добровольнее подчиняется он установленным правилам, подавая этим пример и порочным. Добродегель понимает, что необходимые ограничения налагаются на себя ею же самою.

Речь эта поразила Простяка. Выше было уже замечено, что он, во всяком случае, обладал умом прямым и здравым. Видя произвечное на него впечатление, присутствующие постарались поддержать его и смягчить еще более дельными намеками и обещаниями. Известно, что этим средством люди всего мира попадают в ловушку легче всего. Ему позволили даже пови-

даться с Сент-Ив, успевшей, пока длился разговор, привести в порядок свой туалет. Обострившееся положение улеглось и сменилось благодушным. О происшедшем не поминали. Тем не менее, огненный взгляд Простяка, продолжавшего метать искры попрежнему, невольно заставлял Сент-Ив опускать глаза, поддерживая, с тем вместе, до некоторой степени тревожное настроение и в прочих присутствовавших.

Попытка заставить Простяка возвратиться домой оказалась не легкой. Пришлось прибегнуть опять к помощи Сент-Ив. Она видимо приобрела над ним неограниченную власть, но это-то ей и нравилось. Она, правда, убедила его уйти, но, сделав это, осталась видимо огорченной.

Едва он удалился, аббат, бывший не только братом Сент-Ив, но также ее опекуном, задался серьезно вопросом, как уберечь ее в будущем от подобного рода попыток ее неистового воздыхателя. Он посоветовался с судьей, который, делая надежду женить на красавице своего собственного сына, предложил поместить ее временно в монастырь. Можно себе представить, как поразило бедную девушку это решение!

Подобного рода мера вызвала бы громкий протест у всякой; примененная же к женщине благоразумной, нежной и любящей, она могла довести до полного отчаяния.

Между тем Простяк, вернувшись домой, рассказал со своей обычной чистосердечностью дяде все, что случилось. Само собою разумеется, ему пришлось при этом выслушать те же наставления, какие делал аббат и которыми если и был приведен к некоторому порядку его ум, то никак не чувства. На другой день, когда он вздумал снова отправиться к своей возлюблен-

ной для того, чтобы по душе потолковать с ней о законах естественных и положительных, судья с оскорбительной радостью объявил ему, что красавица была в монастыре!

— Ну, так что же?—возразил Простяк.—Я отправлюсь к ней туда.

Судья принялся пространно ему доказывать, что это было совершенно невозможным делом; что слово монастырь латинского происхождения и что это—учреждение для замкнутого общежития.

Гуронец никак не понимал, почему не мог он посетить замкнутого общежития; когда же издательнейших объяснений догадался, что общежитие это было не что иное, как тюрьма, куда запирали девушек, то взрыву его негодования пред таким возмутительным фактом, совершенно неведомым ни гуронцам, ни англичанам, уже решительно не было пределов! Сам великий патрон его Геркулес не был приведен в такую ярость, когда Эхалийский царь Эврит, жестокий не менее аббата Сент-Ива, отказал ему в руке своей дочери Иолы, бывшей не менее прелестной, чем сестра аббата. В страшном гневѣ объявил Простяк, что подожжет монастырь и при этом или похитит свою красавицу, или сгорит с ней вместе. Тегушка Керкабон, услышав такие страшные слова, более чем когда-нибудь пришла к убеждению, что сделать племянника подьяконом не удастся ни ей, ни приору во веки веков. Ей приходила в голову даже ужасная мысль, не поселился ли в Простяке, после его обращения, вместо благодати, дьявол.

VII.

Простяк храбро отбивает англичан.

Однажды Простяк гулял, погруженный в мрачную меланхолию, на морском берегу, с ружьем на плечах и широким кинжалом за поясом. Стреляя то там, то здесь попадавшихся птиц, он нередко серьезно задумывался, не застрелиться ли самому. Но мысль о Сент-Ив была в нем настолько сильна, что примиряла его с жизнью. Думая то о дяде и тетке, то о всей Нижней Бретани и своем обращении, он порой огулом все это проклинал, а порой, напротив, благословлял, вспоминая, что только благодаря случившимся с ним событиям удалось ему сойтись с той, которую полюбил. Возвращаясь иной раз к безумной мысли поджечь монастырь, он внезапно останавливался из боязни, как бы не сгорела при этом и она. Волны Ла-Манша *) не бушевали так при встрече западного и восточного ветров, как бушевало его сердце при таких противоположных стремлениях.

Идя медленными шагами, сам не зная куда, внезапно услышал он треск барабанов и вслед затем увидел толпу людей, из которых половина бежала к берегу, а другая от него.

Громкие крики неслись со всех сторон. Подвигнутый любопытством, бросился он туда, где они раздавались сильнее, и скоро врезался в толпу. На встречу ему попался капитан милиции, с которым он раз как-то ужинал у приора.

*) Пролив, отделяющий Францию от Англии.

Узнав Простяка, капитан бросился ему на шею с криком:

— Это он! Он будет драться за нас!

Милиционеры, из которых большинство были порядочные трусы, ободрились при этом виде и принялись кричать также:

— Это он! Это Простяк!

— В чем дело, господа? В чем дело? Чего вы так испугались?—спрашивал Простяк.—Не засадили ли ваших любовниц в монастырь?

— Англичане, англичане!—кричали ему в ответ.

— Англичане собираются сделать высадку!

— Ну так что ж?—возразил гуронец.—Англичане—народ честный и хороший. Никто из них никогда не предлагал мне сделаться подьяконом и не похищал моей возлюбленной.

Капитан объяснил ему, что англичане собирались разграбить приорство Святой Горы, разбить погребя его дяди и, может быть, даже похитить очаровательную Сент-Ив; что маленький их корабль, пристававший недавно к бретонским берегам, имел целью сделать лишь рекогносцировку; что они начали военные действия, без объявления французскому королю войны, и что весь берег был открыт для их грабительства.

— О, если так,—воскликнул Простяк,—то значит, они нарушают законы природы. Предоставьте уладить дело мне. Я долго жил среди их, знаю их язык и потому могу с ними объясниться. Мне не верится, чтоб у них могли быть такие дурные намерения.

Английская эскадра, между тем, приблизилась. Гуронец бросился к берегу и, сев в небольшую шлюпку, быстро пристал к адмиральскому кораблю. Вскрабавшись на палубу, он громко

гласно спросил, точно ли они явились грабить страну, не объявив предварительно, как это следовало сделать, войны. Громкий смех адмирала и всей команды был ответом на этот вопрос. Простяка угостили пуишем, усадили обратно в шлюпку и отправили домой.

Оскорбленный Простяк решил тогда обратить оружие против прежних друзей и храбро сражаться за своих соотечественников и приора. Соседние дворяне-помещики сбежались со всех сторон. Простяк присоединился к ним. Привезли несколько пушек. Он их зарядил, нацелил и выстрелил. Англичане продолжали высадку. Тогда он бросился в рукопашный бой, убил собственной рукой трех и даже ранил самого, посмеявшегося над ним, адмирала. Храбрость Простяка ободрила прочих милиционеров. Неприятель принужден был отступить, и скоро победный крик: «Ура, король! Ура, Простяк!» огласил всю окрестность.

Все наперерыв спешили его обнять и поздравить, предлагали услуги, чтобы перевязать несколько полученных им легких ран.

Он же думал про себя:

«Ах, зачем здесь нет прелестной Сент-Ив! Как восхитительно наложила бы она мне эти повязки своей рукой!»

Судья, просидевший все время битвы в подвале своего дома, также явился выразить Простяку радостное приветствие по поводу его успеха. Но каковы же были его изумление и испуг, когда, найдя Простяка в кружке самых бесшабашных молодых буянов, одушевленных победою, он услышал такую речь:

— Друзья мои! Мы защитили аббатство Святой Горы, но это еще только половина дела! Те-

перь надо спасти заключенную в монастыре силой благородную девушку.

Разгоряченная толпа сорванцов опрометью бросилась к монастырю и, еслиб судья не успел быстро дать знать местному военному начальнику о таком обороте дела, а тот не явился немедленно с внушительным отрядом солдат, то смелая попытка, пожалуй, увенчалась бы успехом. Дело, однако, уладилось: Простяка вернули домой, где дядя и тетка встретили его с расширенными объятиями и потоком умижительных слез.

— Вижу, — сказал дядя, — что не бывать тебе ни подьяконом, ни приором! Судьба твоя — сделаться воином, таким же храбрым, но и таким же нищим, каким был твой отец.

Тетушка Керкабон, нежно обнимая племянника, приговаривала, всхлипывая:

— Ведь тебя убьют! Убьют, как убили отца! Сделайся лучше подьяконом.

Во время битвы Простяк нашел на земле и поднял полновесный кошелек с гинеями, потерянный, вероятно, адмиралом. Добыча эта вскружила ему голову, поселив в нем полную уверенность, что с такой суммой можно купить всю Нижнюю Бретань и сделать прелестную Сент-Ив знатной дамой. На него со всех сторон посыпались советы немедленно ехать в Версаль хлопотать о награде за совершенные им подвиги. Местный начальник и офицеры снабдили его удостоверительными об этом свидетельствами. Дядя и тетка вполне одобрили этот план. Ему, по их мнению, следовало непременно предстать перед королем. Какой эффект произвело бы это в провинции! Добряки эти великодушно прибавили к приобретенной Простяком сумме кое-что

из собственных сбереженных ими грошей. А Простяк в это время рассуждал, что, представляясь королю, он тотчас же потребует в награду прелестную Сент-Ив и уж, конечно, не получит в этой просьбе отказа.

Уехал он при единодушном желании успеха от всего города, напутствуемый общими объятиями, благословениями дяди, слезами тетки и полный самыми радужными мечтами о несравненной Сент-Ив.

VIII

Простяк едет ко двору. По дороге он ужинает с гугенотами.

Простяк ехал через Сомюр в почтовой карете, потому что иных способов путешествия не было. Достигнув Сомюра, он очень удивился, найдя город на половину пустым и заметив, что из оставшихся жителей многие собирались в дорогу точно так же. На расспросы его ему ответили, что лет пять-шесть тому назад в Сомюре было более пятнадцати тысяч жителей, теперь же не осталось и шести. Разговор по этому предмету Простяк возобновил в гостинице, где остановился и где сидело за столом несколько протестантов. Некоторые горько жаловались, другие раздражались проклятиями, приговаривая со слезами: „*Nos dulcia liquimus arva, nos patriam fugimus*“. Простяк по-латыни не разумел; когда же ему перевели эти слова, то он узнал, что они значили: «Мы покидаем наши прекрасные поля, мы покидаем наше отечество!»

— А почему, господа, вы покидаете ваше отечество? — спросил Простяк.

— Потому что нас заставляют признать Папу, — было ответом.

— Отчего же вам его не признать? Каждому из вас может придти охота жениться на своей крестной матери, а я слышал, что Папа один только и может устроить такой брак.

— Ах, милостивый государь, Папа хочет забрать в свои руки владения всех королей!

— А кто такие вы сами?

— Мы почти все фабриканты сукон.

— Ну, так о чем же вы горюете? — возразил Простяк. — Еслиб Папа вздумал забрать ваши сукна, то ваш отказ признать его был бы понятен, а так как он имеет дело до короля, то к чему же путаться в их дела вам?

Один из собеседников, маленький, одетый в черное человечек, стал докторальным тоном объяснять причину общей претензии. Он красноречиво заговорил об отмене Нантского эдикта*), описав так трогательно при этом участь пятидесяти тысяч семейств, подвергшихся изгнанию, и такого же числа других, насильно обращенных с помощью драгунов, что Простяк, слушая, невольно прослезился.

— Как же, — молвил он, — могло случиться, что такой великий государь, слава которого дошла даже до земли гурунцев, добровольно лиши-

*) „Нантский эдикт“ — приказ французского короля Генриха IV (в 1598 г., в гор. Нанте) о свободе вероисповедания, последовавшей за многолетними религиозными войнами между сторонниками папской власти и римско-католической церкви и отделившимися от нее последователями новых вероучений. Но Людовик XIV отменил Нантский эдикт (в 1685 г.), и тогда начались новые преследования за веру, вследствие чего многие покинули Францию, переселяясь в страны, где было больше религиозной терпимости. Свободнее всего жилось в ту пору в Англии.

себя такого количества сердец, искренно ему преданных и служивших ему с полным усердием?

— Его обманули, — отвечал говоривший, — обманули точно так же, как и всех прочих королей. Его уверили, будто ему стоит сказать слово, чтоб заставить всех думать, как думает он, и что мы по его приказу переменим веру так же легко, как его музыкант Люлли меняет оперные декорации. Он не только потерял более пяти тысяч своих самых верных подданных, но превратил их в своих врагов. Король Вильгельм, царствующий теперь в Англии, на вербовал из этих французов несколько превосходных полков, которые иначе сражались бы за Францию.

— Прискорбное это событие, — продолжал говоривший, — тем более удивительно, что тот Папа, ради которого король Людовик XIV пожертвовал такой значительной частью своих верных подданных, сам его первейший враг. Горючая между ними вражда длится уже целых девять лет. Дело доходило до того, что Франция надеялась даже, что из тех цепей, которыми она окована в течение столетий этим чужеземцем, будет, наконец, сброшено, и что в карман его перестанут сыпаться ее деньги — этот всеобщий двигатель дел всего мира.

Повидимому, великому государю были представлены в ложном свете его собственные интересы, ложно истолкована степень его власти, и хитро поставлен предел чувству его великодушия.

Простяк, растроганный в высшей степени, спросил, кто же были те французы, которые решились так бесстыдно обмануть монарха, уважаемого даже гуронцами.

— Иезуиты *), — было сказано в ответ, — и в особенности патер Ла-Шез, духовник его величества. Надо уповать, что придет для них день Божьей кары и что они будут изгнаны точно также, как теперь изгоняют нас. Наше горе несравнимо ни с чем. Лувуа окружил нас иезуитами и драгунами со всех сторон.

— Если так, — сказал, наконец, Простяк, не будучи в силах сдерживать свое волнение, — то знайте, что я еду в Версаль хлопотать о награде за мои заслуги и обещаю поговорить там с вашим Лувуа. Я слышал, будто все войны, какие нас разоряют, сочиняет он один, сидя в своем кабинете. Я повидаяюсь также с королем и открою ему глаза. Невозможно же себе представить, чтоб он не направил дела по правде, когда увидит эту правду воочию. А затем я вернусь для того, чтобы жениться на очаровательной Сент-Ив, и приглашаю вас всех на свадьбу.

Услыша это, некоторые из присутствовавших остались в уверенности, что он был каким-нибудь важным лицом, путешествующим инкогнито **). Другие же склонялись более к предположению, что их просто хотел подурочить королевский шут.

В числе присутствовавших сидел переодетый

*) Иезуиты — религиозное общество, основанное в 16-м столетии испанцем Игнатием Лойолой (1540). Общество стало вскоре очень могущественным и имело многочисленных членов среди духовенства. Его правила отличались крайней суровостью и вместе с тем извращенностью, причем иезуиты утверждали, что цель оправдывает средства, какими бы они ни были сами по себе, хороши или плохи. Иезуитов все боялись, но они действовали тайно и вербовали все новых и новых членов, проникая в школы. Из Франции иезуиты были, наконец, изгнаны в 1764 году, но тайно все же продолжали поддерживать свое влияние.

**) То есть скрыл свое настоящее звание.

иезуит, шпион достопочтенного патера Ла-Шеза, отдававший ему отчет во всем, что видел и слышал, так же как патер Ла-Шез доносил о всем Лувуа. Письмо с подробным описанием сказанного за столом полетело вслед за отъездом Простяка и прибыло в Версаль одновременно с ним.

IX.

Приезд Простяка в Версаль. Его прием при дворе.

Экипаж, доставивший Простяка из Парижа в Версаль, остановился на кухонном дворе. Увидя несколько стоявших тут носильщиков портшезов *). Простяк спросил, в котором часу можно было видаться с королем. Носильщики, выгаращив глаза, подняли его на смех, как это сделал и английский адмирал. Простяк их поколотил. Они собрались ответить тем же, так что сцена угрожала кровопролитием. На счастье, мимо проходил бретонский офицер, начальник отряда стражи, и разогнал нахалов.

— Вы, милостивый государь, — сказал, обращаясь к нему, Простяк, — кажется мне добропорядочным человеком. Я племянник приора аббатства Святой Горы, сражался с англичанами и явился сюда с целью видаться с королем, а потому обращаюсь к вам с покорнейшей просьбой провести меня в его кабинет.

Офицер, обрадовавшись такой внезапной встрече с земляком, но заметив, что он, как провинциал, совершенно не знал придворных порядков, поспешил ему разяснить, что видеть короля далеко не так легко и что для разговора с

*) Кресла, в которых слуги переносили своих господ.

ним надо быть ему представленным чрез господина Лувуа.

— Ну, так сведите меня, — возразил Простяк, — к господину Лувуа, а он представит меня королю.

— Это еще труднее, чем представиться королю, — был ответ, — но я сведу вас к господину Александру, его первому военному ад'ютанту. Переговорить о деле с ним — все равно, что переговорить с самим Лувуа.

Они отправились к господину Александру, но не были им приняты, потому что, занятый очень важным делом с какой-то придворной дамой, он не хотел принимать никого.

— Ну, не беда! — ободрил Простяка его новый знакомый. — Мы пойдем к ад'ютанту господина Александра. Переговорив с ним, вы обделаете ваше дело точно так же, как если бы говорили и с его начальником.

Удивленный Простяк отправился, куда его вели. Оба просидели полчаса в какой-то очень тесной передней.

— Что же это? — сказал, наконец, не выдержав, Простяк. — Неужели здесь все невидимы? Я начинаю думать, что разбить в Бретани отряд англичан гораздо легче, чем добиться в Париже возможности увидеть людей, до которых имешь дело.

Со скуки он принялся рассказывать собеседнику свои любовные похождения, но пробившие часы отозвали офицера к его посту. Они обещались сойтись на другой день. Простяк, оставшись один, стал мечтать о прелестной Сент-Ив, чередуя эти мысли раздумыванием, почему же было так трудно добиться в Париже свидания с официальными лицами.

Ад'ютант, наконец, явился.

— Еслиб я, милостивый государь,—сказал ему Простяк,—заставил англичан ждать себя столько же времени, сколько благодаря вам прождал здесь, то они успели бы разграбить всю Нижнюю Бретань.

— Кто вы такой и чего вы желаете?—спросил изумленный подобной речью ад'ютант.

— Желаю получить награду,—отвечал Простяк и, сказав это, подал свои удостоверительные свидетельства. Ад'ютант внимательно их прочел и объявил просителю, что в виду сообщенного, вероятно, ему будет разрешено купить себе чин лейтенанта.

— Что-о-о! — воскликнул Простяк. — Будет разрешено заплатить мои же деньги за то, что я дрался с англичанами?! За то, что шел на смерть в то время, как вы, спокойно сидя здесь, давали ваши аудиенции! Мне кажется, вы надо мной смеетесь! Я хочу получить под команду кавалерийский полк! Требую, чтоб король освободил из монастыря мою невесту Сент-Ив и разрешил мне на ней жениться. Да, сверх того, мне надо поговорить с королем о пятидесяти тысячах его подданных, которых я намереваюсь возвратить под его скипетр. Словом, я хочу быть полезным и для этого требую, чтобы мне дали должность и власть!

— Что вы за господин, говорящий так громко?—крикнул изумленный более прежнего ад'ютант.

— Кто я?!—крикнул таким же тоном Простяк. — Да разве вы не прочитали моих свидетельств? Вот, значит, как здесь на них смотрят! Моё имя Геркулес Керкабон! Я крещен и живу в Голубом Павильоне. А на вас буду жаловаться королю!

Ад'
не, что
им за
В
духов
получ
тонец
мысли
ниях
нос от
санием
монас

А
по ал
необы
ским
не тер
той де
латься
кратит
этим
что к
забот
ствол
сделан
ства
под к
ролем
ских
Ка

всех
ним ч

*) И
для на
ее раз
национ

Ад'ютант заключил, как и сомюрские граждане, что Простяк был не в полном уме, и перестал им заниматься.

В тот же день достопочтенный патер Ла-Шез, духовник его величества короля Людовика XIV, получил от своего шпиона письмо, которым бретонец Керкабон обвинялся в преступном единомыслии с гугенотами и оскорбительных суждениях о иезуитах. Лувуа также был прислан донес от любознательного судьи с подробным описанием злодейского умысла Простяка поджечь монастырь и похитить его обитателей.

А Простяк, нагулявшись, между тем, вдоволь по аллеям версальских садов, показавшихся ему необыкновенно скучными, и поужинав с гуронским и бретонским аппетитом, спокойно заснул, не теряя блаженной надежды увидеться на другой день с королем, получить руку Сент-Ив, сделаться командиром кавалерийского полка и прекратить преследование гугенотов. Убаюкиваемый этими мечтами, он внезапно проснулся и увидел, что комната была полна вооруженной стражи, заботливо захватившей прежде всего его двуствольное ружье и большую саблю. Затем была сделана опись найденных денег, прочего имущества и в заключение самого Простяка повезли под крепким конвоем в замок, построенный королем Карлом V, сыном Иоанна II, близ Турнельских ворот, в Сент-Антуанской улице *).

Каково было изумление Простяка при виде всех этих событий—предоставляется судить самим читателям.

*) Бастилия—знаменитая парижская тюрьма, разрушенная народом во время великой революции 1789 года. День ее разрушения—14 июля—стал с тех пор днем французского национального праздника.

Все происшедшее показалось ему сначала оном, и он довольно долгое время оставался в каком-то полубабыти, но затем он бешено рванулся, схватил с невероятной силой двух сидевших с ним в карете стражей за горло, вывырнул их сквозь двери вон и, выскочив вслед за ними сам, сбил с ног третьего, хотевшего его удержать, но, потеряв равновесие, упал на землю. Его немедленно схватили, связали и толкнули снова в карету.

«Ну!—думал он, задыхаясь.—Вот вам и награда за то, что я прогнал из Нижней Бретани англичан! О, Сент-Ив, Сент-Ив! Что случилось бы с тобой, еслиб ты увидела меня в таком положении!»

Его привезли, наконец, к месту назначения и там в полном молчании снесли на руках, как покойника, в комнату, которую ему предстояло занять. Оказалось, что в ней уже был заперт узник по имени Гордон, томившийся в заключении более двух лет.

— Вот тебе товарищ,—сказал один из стражей,—вталкивая Простяка в комнату. Дверь была после этого немедленно заперта огромным замком с засовом. Заключенные очутились отделенными от всего мира.

X.

Простяк заперт в Бастилии с янсенистом *).

Гордон был еще свежий, здоровый старик, обладавший двумя великими качествами: он безропотно сносил горе сам и в то же время умея

*) Янсенисты — последователи учения голландского богослова Янсениуса (1585-1638 г. г.), который в своих сочинениях доказывал, что человек может быть спасен силою бла

утешать в нем других. Дружелюбно встретив Простяка, он его нежно обнял и затем сказал:

— Кто бы ты ни был, явившийся разделить со мной мою могилу, будь уверен, что, живя в этом проклятом месте, я буду всегда гораздо меньше думать о себе, чем о тебе. Потому благодарим Провидение, сведшее нас вместе, и будем жить в мире, лелея надежду на лучшее в будущем.

Слова эти произвели на Простяка действительные успокоительные капли, помощью которых открывает глаза и возвращается вновь к жизни обмерший.

Когда они обменялись первыми приветствиями, Гордон, впечатлением спокойного характера и тем невольным влечением, какое всегда рождается между несчастными, вошел на столько в доверенность Простяку, что тот облегчил свое сердце сам, рассказав ему причину своих бед.

Гордону, однако, причина эта вовсе не показалась такой важной, так что он даже изумился отчаянию Простяка.

— Надо думать,—сказал он, выслушав его повесть,—что Бог предназначил вас для чего-нибудь необыкновенного. Промысл Его, устроив ваше путешествие с озера Онтарио в Англию, оттуда во Францию, определил, чтоб вы были окрещены в Бретани, и затем привел вас для спасения вашей души, сюда.

— Мне,—возразил на это Простяк,—кажется, напротив, что все это было скорее делом дья-

годати, даже если он не совершил никаких добрых дел. Яansenизм имел очень много сторонников во Франции, между которыми были выдающиеся ученые и писатели. Главными врагами иansenистов были иезуиты.

вола. Мои соотечественники, американцы, никогда не поступили бы со мною так варварски, как поступают здесь. О таких делах в их стране не может быть даже речи. Их называют дикарями. Положим, нравы их, действительно, грубы; но зато здешних людей надо в полном смысле слова назвать утонченными мошенниками. Факт, что я прибыл из Нового Света в Старый только затем, чтобы быть запертым здесь под семью замками со священником, поистине изумителен; но если я рядом с этим фактом поставлю еще некоторые другие, например, как люди переплывают из одного полушария земли в другое для того, чтобы резать друг другу горла, тонут нередко в пути и достаются в добычу рыбам, то, признаюсь я никак не могу увидеть в подобного рода делах благости допускающего их Провидения.

Заклученным подали через форточку обед. Разговор продолжался попрежнему о Провидении, об арестах без суда и об искусстве, как не пасть духом под гнетом непредвиденных бед, ударам которых может подвергнуться в этом мире всякий.

— Вот два года,—сказал старик,—как я сижу здесь без всякого утешения, кроме того, которое почерпаю в моих книгах, и при этом ни разу не пал духом.

— Ах, многоуважаемый господин Гордон!—воскликнул Простяк,—это потому, что вы никогда не были влюблены в вашу крестную мать! А вот если бы вы увидели прелестную Сент-Иа, то поняли бы тогда всю глубину моего отчаяния.

Сказав это, он не мог удержать рыданий. Слезы его облегчили.

— Странно,—заметил Простяк,—почему слезы оказывают такое благое действие в томлящем

нас горе
ли отяг

— Э
что нап
чалом.
облегча
низмы,

Прос
замечен
размыш
как ему

— З
ка,—ва
течение

— М
на меня
ме. Я
иезуиты
ведовал
скоп, п
преподо
ля, сво
торого
нейшего

— С
зывает
я толь
стране,
назвали
скажу
тельно
сительн
что мн
челове
утешен

нас горе. Кажется, наоборот, они должны бы были отягчать его еще более.

— Это, мой сын,—возразил старик,—потому, что наш дух тесно слит с нашим физическим началом. Облегчась физически, мы, с тем вместе, облегчаемся и духом. Мы не более, как механизмы, созданные Провидением.

Простяк, обладавший, как уже не раз было замечено, очень здравым умом, погрузился в размышление об этом предмете, суть которого, как ему казалось, он не раз чувствовал сам.

— За что же,—спросил он своего собеседника,—ваш механизм томится под семью замками в течение двух лет?

— Милость эта,—отвечал Гордон,—ниспала на меня за то, что я был заподозрен в янсенизме. Я был знаком с Арнольдом и Николем, и иезуиты подняли гонение на нас всех. Мы проповедовали, что Папа не более, как простой епископ, подобный всем прочим, и вот за это-то преподобный патер Ла-Шез выхлопотал у короля, своего духовного сына, декрет, в силу которого меня лишили без всякого суда драгоценнейшего достояния людей—свободы.

— Странно!—заметил на это Простяк.—Оказывается, что все попавшие в беду люди, каких я только успел до сих пор встретить в вашей стране, обязаны этой бедой Папе! Вы, правда, называли сейчас эту беду какой-то милостью, но скажу вам, что милости тут я не вижу решительно никакой. Прибавлю, впрочем, что относительно себя лично я готов счесть милостью то, что мне пришлось разделить мое заключение с человеком, как вы, умеющим влить в мою душу утешение, какого я не ожидал.

Разговоры их становились интереснее и поучительнее с каждым днем, и они все более и более привязывались друг к другу. Старик много знал, а молодой человек жаждал многому научиться. В какой-нибудь месяц он сделал значительные успехи в геометрии. Наука эта понравилась ему чрезвычайно. Гордон познакомил его с основами физики по руководству Рого, которое было тогда еще в моде. Простяк нашел, что в ней не было ничего, кроме неопределенностей.

Затем прочел он первый том «Поиска истины». Ум его озарился новым светом.

— Как!—воскликнул он.—Возможно ли, чтобы наше воображение и чувства обманывали нас до такой степени?! Ум не дает нам об объектах никакого понятия, а создать себе это понятие сами мы не можем!..

Когда он прочел второй том этого сочинения, то восхищение его несколько уменьшилось, и он понял, что разрушать было легче, чем создавать.

Собеседник его, удивленный, что к такому разумному заключению, доступному лишь для опытных людей, пришел незрелый юноша, проникся еще большим уважением к уму Простяка и привязался к нему еще сильнее.

— Мне кажется,—сказал Простяк старику,—что ваш Мальбранш написал одну половину своей книги умом, а другую воображением, испорченным предразсудками.

Через несколько дней Гордон спросил:

— Что же ты думаешь о душе, о способе, каким мы получаем наши мысли, о нашей воле, о благодати и о свободе суждения?

— Ничего.—отвечал Простяк,—я склоняюсь к мысли, что мы, как звезды и вся вселенная, состоим во власти Верховного Существа, делающего с нами все, что Оно захочет. Существо это —душа огромной машины, называсмой вселенной: мы же в ней ничтожные колесца. Машина эта действует для какой-то одной общей цели, и в ней очень мало заботятся об участии отдельных составляющих ее частей. Вот что мне кажется ясным вполне, а все остальное для меня потемки.

— Но, сын мой.—возразил старик.—ведь это значит говорить, что управляющая нами судьба виновна и в наших грехах!

— А разве в вашем учении о благодати,—ответил Простяк,—говорится не то же самое? Лишенные этой благодати, говорите вы, делают грешниками неизбежно; потому ясно, что кто допускает свершиться греху, тот в нем и виновен.

Как ни наивны были такого рода возражения, но они ставили старика до того втупик, что он решительно не знал иной раз, как выбраться из этого лабиринта. Сколько ни придумывал он хитросплетенных объяснений, все они разбивались прямолинейными ответами его собеседника, так что, наконец, Простяк почувствовал к нему даже сожаление.

Прения эти имели, однако, ту хорошую сторону, что, споря, они забывали хоть немного свое тяжелое положение, и приходя, сверх того, к убеждению, что страдал весь мир, удерживались от слишком горьких жалоб и на свое собственное горе.

Но, когда по ночам образ прелестной Сент-Ив, представляясь воображению Простяка, прого-

нял эти нравственные и метафизические размышления, он плакал, и плакал горько! Добрый Гордон при виде этого забывал учение о благодати, аббатство Сен-Сирана Янсения, и всеми силами старался утешить бедного молодого человека, которого он считал погрязшим в сетях смертного греха.

• Начитавшись и наговорившись вдоволь о подобного рода предметах, они нередко принимались рассказывать друг другу свои житейские похождения; когда же утомлялись и этим, то начинали читать что-нибудь вместе или каждый про себя. Ум Простяка развивался все более и более с каждым днем. Он в особенности чувствовал склонность к математике и, наверно, пошел бы в этой науке далеко, если бы образ прелестной Сент-Ив не смущал его серьезных занятий.

Он прочел также несколько исторических сочинений. Под впечатлением их мир показался ему крайне жалким и ничтожным. История, действительно, не что иное, как повесть несчастий и преступлений. Она никогда не изображает толпу тех мирных, безобидных людей, из которых состоит большинство человечества. Герои ее — развращенные властолюбцы. Можно смело сказать, что история, подобно трагедии, бывает интересна лишь в том случае, если изображает неистовые страсти, беды и преступления.

История Франции изобилует ужасами не менее всякой другой. Но Простяк не нашел ее даже интересной. Начало казалось ему отвратительным, середина — сухой, а конец — ничтожным, не исключая даже эпохи Генриха IV. Полное отсутствие в ней каких-либо великих дел и тех блестящих открытий, какими прославились дру-

гно
ску
доч
шил

Оба
тел
ска
сле
рек
бы
дру
тел
заг
рол
бол

ци
ли
доб
по
сер

бе
сти

лю
сти

ни
та
об
из

гие нации, произвело на него впечатление такой скуки, что он должен был принудить себя силой дочитать описание этих темных дел, приютившихся в маленьком уголке вселенной.

Гордон в этом случае разделял его взгляды. Оба неудержимо смеялись, читая деяния властителей Фезензака *), Фезанзагета и Астарака. Рассказы о них годились бы разве лишь для их наследников, если бы таковые имелись. Славные века римской республики заставили Простяка забыть на некоторое время все, что делалось в других краях мира. Рим, повелитель и законодатель народов, привел его в восторг. Сердце его загоралось энтузиазмом при мысли об этом народе, прожившем семь веков под ореолом свободы и славы.

Так незаметно протекали дни, недели, месяцы. Простяк иной раз мог бы счесть себя счастливым даже в этом месте отчаяния, если бы его добрая душа не переполнялась грустью при воспоминании о дяде, приоре Святой Горы и добросердечной тетушке Керкабон.

«Что подумают они,—часто повторял он себе,—не получая от меня так долго никаких известий! Они сочтут меня неблагоприятным».

Мысль эта его мучила. Он сокрушался о горе любивших его людей больше, чем о своем собственном

*) Графство Фезензака имело всего семь верст протяжения в длину, и пять — в ширину. Оно было присоединено, так же как и вице-графство Фезанзагета, еще меньшее по объему, к области Арманья. Графство Астарака имело около 13 верст в длину на 11 в ширину.

XI.

Ум Простяка продолжает развиваться.

Чтение возвышает душу, а просвещенный друг ее успокаивает. Пленник наш имел оба эти блага, благотельного действия которых прежде и не подозревал. «Я,—говорил он,—готов уверовать в переселение душ, видя, как явно сам превращаюсь из зверя в человека».

Он успел составить себе небольшую библиотеку, употребив на это ту часть денег, которая была оставлена в его распоряжении. Гордон посоветовал ему излагать свои размышления о прочитанном письменно. Вот заметка, которую он составил о древней истории:

«Мне кажется, что нации долго жили в таком же положении, в каком жил и я. Развитие их, подобно моему, началось очень поздно. Живя только одним настоящим, они думали о прошедшем мало, а о будущем не думали совсем. Я исходил Канаду вдоль и поперек и не встретил ни одного памятника. В стране этой никто не знает, чем были и что сделали их предки. Не это ли состояние людей следует назвать естественным? Жители здешнего континента кажутся мне стоящими на несравненно более высокой степени развития. Они раздвинули границы своей жизни, изучая то, что произвела наука и искусства в веках прошедших. Неужели это произошло только потому, что они одарены от природы бородой, тогда как американским племенам Бог в этом украшении отказал? Не думаю! Ведь я вижу, что китайцы без бороды тоже, а между тем культура процветает у них уже более пяти тысяч лет. Летописи этого народа, захватывающие

период в четыре тысячи лет, доказывают ясно, что цивилизация страны началась, по крайней мере, за пятьдесят столетий. История Китая изумляет меня всего более тем, что в ней все просто и естественно, без всякой примеси баснословных легенд.

«Я решительно не понимаю, почему все прочие нации приплетают непременно к началу своей истории какой-нибудь мифический рассказ? Летописцы Франции—страны сравнительно даже не очень древней — производят французов от Франкуса, сына Гектора. Римляне уверяют, будто родоначальником их был какой-то фригиец, хотя в языке их нет ни одного слова, в котором можно было бы заподозреть фригийский корень. Боги, по уверению египтян, жили десять тысяч лет в их стране, а скифы оказывали в течение такого же времени гостеприимство дьяволам, от которых и произошли гунны. Вообще вся история до Фукидида представляется мне романом в роде Амадиса, и притом романом, далеко не так интересным. Это какая-то пустая болтовня о видениях, оракульских предсказаниях, чудесах, чародействах, превращениях и пророческих снах, предсказывающих судьбы государств, как больших, так и малых. В одной сказке скоты являются обладающими даром слова; в другой их обоготворяют; здесь боги делаются людьми, там люди—богами. Ах, если нам уже так необходимы басни, то пусть эти басни будут хоть эмблемами *) истинны! Басни философские мне нравятся, детские меня забавляют; но сказки, которыми обманщики ловят людей в свои сети, для меня отвратительны».

*) Эмблема—высказательное изображение.

Раз как-то Простяк прочел рассказ из времен Юстиниана о том, как константинопольские схоластики *) сочинили на очень плохом греческом языке обвинительный акт против величайшего полководца своего времени **). Вина его заключалась в том, что в жарком разговоре у него вырвалась фраза: «Истина сияет только собственным светом. Умы людей нельзя просветить никакими кострами». Схоластики увидели в этих словах ересь, ссылаясь на то, что их собственное ортодоксальное (а потому и всемирно-греческое) мнение проповедывало совершенно противоположное, а именно: «Умы людей просвещаются только помощью костров. Истина собственным светом озарить их не может». Многие речи славного полководца были опровергнуты точно таким же способом, и в результате появился обвинительный против него акт.

— Как!—воскликнул, прочтя это, Простяк.— Неужели так писались обвинительные акты?..

— Это не было обвинительным актом,—возразил Гордон.— Над приговором мудрецов посмеялся весь Константинополь, и во главе всех сам император. Это был мудрый государь, умевший направить на добрый путь деятельность даже схоластиков. Он знал, что люди эти испытывали своими приговорами терпение не его одного, но и его предшественников, и вопросах гораздо более важных.

— Он очень мудро поступил,—сказал на это

*) Схоластики—средневековые ученые.

**) Этот полководец при византийском императоре Юстиниане был Велизарий (490-555 г.г.). Несмотря на многие услуги, оказанные им императору, Велизарий в старости подвергся гонениям и был ослеплен. Он должен был, как нищий, просить милостыню на улицах.

Простяк.— Бывает иногда, что схоластиков следует даже поддержать, лишь была бы власть обуздать их в других случаях.

Простяк часто набрасывал письменно заметки, из которых многие приводили Гордона в изумление.

«Вот пятьдесят лет,—думал про себя старик,—как я начал серьезно учиться, а между тем, вижу, что это простое дитя природы часто опережает своим здравым смыслом мой. Предрассудки нередко мешают мне решать затрудняющие меня вопросы, а он легко разрешает их, слушаясь голоса одной природы».

В библиотеке Гордона было несколько тех ничтожных критических сочинений, помещавшихся обыкновенно в повременных изданиях, в которых бездарные писатели старались всеми силами унижить талантливых людей. Простяк прочел некоторые из этих памфлетов и сравнил авторов их с теми комарами, которые кладут яйца под хвосты великолепных лошадей, чем нимало не стесняют их гордого бега.

Приятели, впрочем, занимались этими постыдными отбросами литературы очень недолгое время.

Оба принялись за серьезный астрономический трактат. Великолепное зрелище сфер привело Простяка в восторг.

— Как горько,—говорил он,—постижь величие неба лишь с той минуты, когда меня лишат возможности им любоваться! Юпитер и Сатурн текут в лучезарном величии по своим орбитам! Миллионы солнц освещают миллиарды миров, а здесь, в темном уголке земли, живут люди, лишаящие меня,—разумное и просвещенное

существо — возможности видеть все эти миры, включая и тот, на котором я, по воле Бога, родился! Свет, созданный для всех, не существует для меня! А между тем никто не мешал мне им пользоваться в тех северных странах, где протекли мое детство и юность! Без вас, мой добрый Гордон, я превратился бы в полное ничтожество.

XII.

Что думал Простяк о театральных представлениях.

Простяк походил на те богатые растительной силой деревья, которые, развиваясь медленно, пока они сидят в бесплодной почве, вдруг выпускают корни и ветви во все стороны, едва их пересадят в более плодородный грунт. Довольно странно, что для него роль этого грунта сыграла тюрьма.

В числе книг, развлекавших наших друзей, было несколько сборников стихотворений, а также несколько переводных греческих трагедий, равно как французских театральных пьес. Стихи, в которых воспевалась любовь, возбуждали в душе Простяка одновременно и радость и грусть. Они напоминали ему дорогую Сент-Ив. Басня о двух голубях пронзила его сердце. Он чувствовал, как был далек от родного гнезда, к которому стремился.

Модьер привел его в восторг. По нему изучая нравы Парижа и всего людского рода.

— Которую из его пьес считаешь ты лучшей? — спросил Гордон.

— Без сомнения «Тартюфа» *),—отвечал Простяк.

— И я тоже,—согласился старик. Я попал в тюрьму благодаря именно одному из таких Тартюфов и уверен, что какой-нибудь его собрат виновен и в твоей беде.

— А какого мнения ты о греческих трагедиях?—спросил он далее.

— Я думаю,—отвечал Простяк,—что они хороши для греков.

Зато прочтя современные «Ифигению», «Федру», «Андромаху», и «Аталию», он пришел в совершенный восторг и пролил не мало слез. Он выучил эти пьесы наизусть как-то невольно, не употребив на то никаких стараний.

— Прочитай «Родогюну» **), — посоветовал Гордон,—пьеса эта считается образцовой. Прочие трагедии, которыми ты так восхищался, ничто пред этой.

Начав чтение, Простяк после первых же страниц заметил, что пьеса наверно сочинена другим автором.

— Почему ты так думаешь?—спросил старик.

— Не знаю,—отвечал Простяк,—но стихи эти как-то ничего не говорят ни моему слуху, ни сердцу.

*) Комедия Мольера (1622-1673 г.), в которой изображается ханжа-лицемер, под видом святости обделывающий свои дела.

**) «Ифигения», «Федра», «Андромаха», «Аталия»—пьесы знаменитого французского писателя Жана Расина (1639-1699), который заимствовал содержание своих пьес у древне-греческих авторов, но обработку им приданал свою. «Родогюна» — пьеса Корнеля, тоже выдающегося французского писателя (1606-1684), которого некоторые ставят выше Расина. Но Вольтер относился к нему с некоторым предубеждением и называет одно из слабейших его произведений.

— Но, ведь это только стихи,—заметил Гордон.

— В таком случае, для чего же писать такие стихи?—возразил Простяк.

Он, тем не менее, внимательно прочел всю трагедию, намереваясь почувствовать удовольствие во что бы то ни стало; но, кончив, всетаки посмотрел на своего друга сухими глазами и удивленным взглядом, не зная что сказать. Наконец, побуждаемый выразить во всяком случае свое мнение,—он сказал:

— Начала сочинения я не понял, середина меня возмутила, конец меня тронул, но показался мне всетаки неправдоподобным. Из выведенных лиц меня не заинтересовало ни одно, и я из всей трагедии не запомнил наизусть даже двадцати стихов, хотя заучиваю очень легко те, которые мне нравятся.

— Однако,—заметил Гордон,—пьеса эта считается лучшей во всей нашей литературе.

— Если так,—возразил Простяк,—то, может быть, это случилось в силу того же обстоятельства, по которому мы нередко видали, как высшие места занимаются людьми, далеко того не стоящими. Во всяком случае, это дело вкуса, а, может быть, мой не развит еще в достаточной степени, и потому я могу ошибаться. Но вы ведь знаете, что я привык говорить прямо все, что думаю, или, лучше сказать, все, что чувствую. Я склонен думать, что общественное мнение очень часто произносит свой приговор под влиянием фантазии, моды или каприза; я же говорю то, что мне шепчет мой природный здравый смысл. Очень может быть, что он у меня очень несовершенен; но, мне кажется, что большинство людей часто произносят свое суждение, не справляясь с этим советником вовсе.

XIII.

Прелестная Сент-Ив в Версале.

Описав, как наш узник вознаграждал горе заключением развитием ума, который, после блуждания во мраке, обнаружил такие блестящие способности, отмщая силами природы за прежнес угнетение, пора нам взглянуть, что делали в это время добросердечный приор, его сестра и прекрасная затворница Сент-Ив. В конце первого месяца они стали беспокоиться, а по истечении трех беспокойство их превратилось уже в тревогу, граничившую с отчаянием. Всевозможные предположения, основанные на ложных слухах, делались без конца. Чрез полгода явилось даже страшное подозрение, что Простяка нет более в живых. Наконец, приором и его сестрой было получено от одного бретонца, служившего в королевской страже, письмо, из которого они узнали, что какой-то молодой человек, по описанию очень похожий на Простяка, приехал однажды вечером в Версаль, но затем в ту же ночь исчез неизвестно куда, после чего о нем не было ни слуха, ни духа.

— Увы! — повторяла бедная тетушка Керкабон. — Племянник, наверно, сделал какую-нибудь глупость, за которую пришлось расплачиваться. Он молод, он бретонец и потому, конечно, не имеет никакого понятия о том, как следует вести себя при дворе. Знаешь, милый брат, я никогда не бывала ни в Париже, ни в Версале. Вот прекрасный случай нам туда съездить. Может быть, нам удастся отыскать там нашего бедного мальчика! Ведь он — сын твоего брата, и потому пе-

мочь ему—наш святой долг. Как знать, может быть, нам и удастся сделать из него подьякона, когда улягутся в нем увлечения молодости. У него большое расположение к наукам. Ты помнишь, как он рассуждал по поводу книг, которые ты давал ему читать? А ведь мы ответственны за его душу. Он обращен нами. Возлюбленная его Сент-Ив плачет день и ночь. Наша поездка в Париж решительно необходима. Если он попал там в один из тех нехороших приютов, о которых мне так много рассказывали, то мы сумеем его образумить и спасти.

Эта речь тронула приора. Он отправился к епископу Сен-Мало, крестившему Простяка, с просьбой благословения и совета. Епископ одобрил план предложенного путешествия вполне и снабдил приора рекомендательным письмом к патеру Ла-Шезу, духовнику короля, занимавшему один из важнейших постов во всем государстве. Такие же письма получил приор к парижскому архиепископу Гарлею и епископу Мо—Боссюе.

Наконец, брат и сестра уехали, но, по прибытии в Париж, почувствовали себя заблудившимися, как в лабиринте. Денежные их средства были ничтожны, а между тем приходилось начинать каждый день для поисков карету. В конце концов, они не нашли ничего.

Приор отправился представиться почтенному патеру Ла-Шезу; но государственный муж был в этот час чем-то занят с девицею Трон и не мог давать аудиенций приорам. Архиепископ Гарлей совещался тоже о каких-то церковных вопросах с госпожей Ледигьер. Приор поехал, наконец, в загородный дом епископа Мо, но и тут получил ответ, что прелат рассматривал вместе с девицей

Молеон новое сочинение госпожи Гюйон «О мистической любви» и тоже не принимал никого. После долгих скитаний ему, впрочем, удалось, наконец, кое-как добиться свидания с этими двумя последними лицами и изложить им свою просьбу. Оба, точно стоворившись, отвечали ему, что не могут вмешиваться в это дело, в виду того, что племянник приора не был поддьяконом.

Приор решился, наконец, посоветоваться с иезуитами. Первый из этих почтенных отцов, к которому он обратился, принял его с распростертыми объятиями, уверяя, что почувствовал к нему необыкновенное расположение с первого взгляда. Он поклялся, что святой орден всегда с особенной любовью покровительствовал бретонцам.

— Но скажите, любезный приор, ваш племянник не гугенот?—был вопрос.

— О, нет, почтенный отец,—ответил приор.

— И не янсенист?

— Еще того менее. Он даже едва христианин, потому что мы его окрестили всего тому назад одиннадцать месяцев.

— Вот это хорошо! Вот это хорошо!—забормотал иезуит,—поверьте, что мы о нем позаботимся. А что, скажите, приорство ваше дает порядочный доход?

— Ничтожный, почтенный отец. Племянник стоит мне очень дорого.

— Нет ли, скажите янсенистов в вашем округе? Берегитесь их, любезный приор, берегитесь! Эти люди опаснее всех гугенотов и атеистов вместе.

Приор уверил его, что в приорстве Святой Горы не знали даже, что такое янсенизм.

— Ну, тем лучше,—торопливо ответил иезуит,—а теперь прощайте и верьте, что я готов сделать для вас все, что вы ни пожелаете!

С этими словами он учтиво захлопнул за приотвором дверь и больше о нем не вспоминал.

Так бесполезно протекало время. Бедный приор и его сестра были в полном отчаянии.

Между тем, проклятый судья лелеял попрежнему надежду устроить брак своего болвансына с Сент-Ив, которая для этой цели была даже освобождена из заточения в монастыре.

Она попрежнему любила своего дорогого крестника и попрежнему не терпела того, кто предназначался ей в мужья. Ненависть эта еще более усиливалась чувством глубокой обиды, нанесенной ей се пленом.

Когда же ей стали еще усиленно надоедать проектом упомянутого брака, доходя почти до угроз, то терпению ее пришел конец. Любовь, горе и отвращение встали в ней с неодолимой силой и подвигли действовать во что бы то ни стало. А ведь известно, что энергия молодой девушки, да еще любящей, выражается, наверно, с большею решительностью, чем даже чувство родственной привязанности в старом приоре и его сестре, тоже перешедшей почтенный сорокапятилетний возраст. Сент-Ив почерпнула запас решительности еще в том, что успела прочесть тайком, во время своего пребывания в монастыре, несколько романов.

Она хорошо знала, что относительно судьбы ее жениха было получено от одного из королевских стражей какое-то письмо, о котором говорили во всем околотке.

Решение ее выразилось в намерении самой отправиться в Версаль и там, бросившись к ногам

министра, добиться, в случае, если Простяк был в тюрьме, правосудия. Какой-то тайный голос шептал ей, что хорошенькой женщине не откажут при дворе ни в чем; но она только не подзревала, какой ценой придется за это счастье заплатить!

Решась твердо исполнить свою мысль, она несколько пришла в себя, утешилась и настолько овладела собой, что стала даже наружно любезна со своим братом-приором, с глупым нареченным женихом и его противным родителем. Нравственная атмосфера в доме с виду проявлялась. Но в день, назначенный для брака, невеста, в четыре часа утра, внезапно исчезла со всеми свадебными подарками и всем, что могла захватить. Бегство было задумано и исполнено так хитро и ловко, что когда, около полудня, домашние вошли в покинутую комнату, беглянка была уже далее, чем за десять льё. Удивление и скандал были неописуемы. Судья потерялся в своих нескончаемых расспросах, как в лабиринте, наделав их в этот один день более, чем в неделю. Жених превзошел глупыми выходками самого себя. Приор Сент-Ив, вне себя от гнева, решил преследовать и догнать убежавшую во что бы то ни стало. Судья с сыном изъявили неременное намерение ему сопутствовать, и, таким образом, волей судьбы, в Париж переселился почти целый Нижне-Бретонский кантон.

Между тем, Сент-Ив хорошо понимала, что погоня за ней будет непременно. Продолжая верхом свой путь, она осведомлялась у всех курьеров, не обгоняли ли они в дороге полного аббата, еще более толстого судью и ююшу с глупой физиономией, поспешавших по дороге в Париж. Услышав на третий день пути, что все трое бы-

ли недалеко, она ловко свернула на проселочную дорогу и успела так хорошо рассчитать время, что прибыла в Версаль как раз, когда ее без пользы искали в Париже.

Но что могла предпринять она в Версале, — молодая, неопытная девушка, хорошенькая собой, никому незнакомая, никем не покровительствуемая, никем не наставленная? Где и как она могла отыскать нужного ей королевского стража, к которому думала обратиться? Не зная, что делать, решилась она посоветоваться с каким-нибудь иезуитом из того класса этого ордена, который был доступен для всех. Надо сказать, что иезуиты в то время успели уже втереться решительно во все классы общества, начиная с самых высших. Подобно тому, говорили они, как Бог дарует пищу разным породам животных, так и иезуит назначил при короле духовника, которого все ищущие доходных мест, громко величали главой галликанской церкви. Принцессы каялись в грехах также этим почтенным отцам, и лишь одни министры были настолько умы, что старались сопротивляться их сетям всевозможными способами. Во всем остальном обществе иезуиты господствовали полновластно. Особенно старались они вербовать в ряды своих духовных дочерей горничных знатных дам, с тем, чтобы выведывать все, что творилось в домах их госпож. Результаты деятельности такого рода были поистине изумительны.

Сент-Ив напала именно на одного из таких почтенных деятелей, который был даже более известен не по собственному имени, а по давному ему прозвищу: «Отец, готовый к услугам всех». Исповедавшись, Сент-Ив чистосердечно

рассказала ему свое горе, свои опасения и слезно умоляла его поместить ее к какой-нибудь благочестивой женщине, под чьей защитой она могла бы избежать грозящих ей опасностей.

Почтенный отец поместил ее к жене придворного втиочерпия, бывшей одной из самых рьяных почитательниц его самого. Сент-Ив постаралась прежде всего стать в самые лучшие отношения со своей хозяйкой и, получив от нее сведения о бретонском страже, попросила призвать его немедленно.

Когда из слов его обнаружилось, что Простяк исчез после разговора с адъютантом, Сент-Ив поспешила к нему. Вид хорошенькой женщины привел его сейчас же в очень любезное расположение духа. Ведь известно, что женщины на то и созданы, чтобы смягчать строптивый нрав мужчин.

Разнежившийся адъютант разболтал ей все:

— Ваш возлюбленный, — сказал он, — уже год как сидит в Бастилии, и без вашего заступничества ему грозит участь остаться там на всю жизнь.

Услышав это, Сент-Ив лишилась чувств; когда же очнулась, то собеседник ее продолжал:

— У меня, к сожалению, нет власти делать людям добро. Мои обязанности, напротив, сводятся на причинение им только неприятностей. Обратитесь к господину де-Сен-Пуанжу! Он родственник и любимец Лувуа, а потому может делать как зло, так и добро. У господина Лувуа две души. Сен-Пуанж — одна из них, тогда как другая олицетворяется в госпоже Френуа. Но ее, к сожалению, в Версале нет, и потому вам остается только обратиться к покровительству Сен-Пуанжа.

Сент-Ив, волнуемая равно надеждой и страхом, радостью и горем, боясь брата и обожая своего жениха, поспешно побежала, плача и в то же время лелея надежду, к Сен-Пуанжу.

XIV

Умственное развитие Простяка продолжается.

Простяк, видимо, успевал в науках и особенно в науке познания человека. Быстрота его развития обуславливалась столько же влиянием первоначального воспитания, полученного им среди дикой природной обстановки, сколько и собственным его личным характером. Не учась ничему в детстве, он по тому самому остался чужд и тех предрассудков, которые внедряясь в нас с молодых лет, лишают ум его гибкости. Ум Простяка, напротив, остался свеж и прям. Он видел предметы такими, каковы они в действительности, тогда как мы, угнетенные ложными взглядами, которые в нас вбивают с детства насильно, представляем себе жизнь именно не такой, какова она на самом деле.

— Преследователи ваши,—говорил он Гордону,—конечно, достойны презрения, но я, жалея вас за перенесенное вами, жалею еще более за то, что вы ядсенист. Учение всякой отдельной секты, каково бы оно ни было, кажется мне всегда отклонением от истины. Скажите мне, могут ли возникнуть секты при занятиях геометрией?

— Нет, сын мой, таких нет,—ответил Гордон,—но это потому, что истины, доказанные вполне, принимаются всеми людьми бесспорно, тогда

как в вопросах об истинах еще затемненных людей расходятся во мнениях без конца.

— Скажите лучше: в вопросах о затемненных нелепостях,—возразил Простяк.—Если бы в ворохе тех суждений, которые люди перетряхают без конца в течение целых столетий, была скрыта хотя одна истина, то она, наверно, обнаружилась бы давно, и мир сошелся бы в мнении хоть по одному какому-нибудь вопросу. Если бы истина эта была необходима для жизни, как солнце необходимо для земли, то она и засияла бы, как солнце. Говорить, что Бог намеренно скрыл от людей истину, значит, по-моему, говорить нелепость, оскорблять людей и даже самого Бога!

Все такого рода суждения молодого дикаря, воспитанного природой, производили глубокое впечатление на ум бедного старого философа.

«Неужели,—думал он,—я погубил себя ради химер *)? Все мои труды принесли мне гораздо более горя, чем радости! Проповедуя, что свобода дарована Богом всему людскому роду, я кончил тем, что потерял свою собственную, и ни блаженный Августин, ни Проспер не извлекают меня из той мрачной бездны, в которую я повержен!»

Простяк, верный своему чистосердечному характеру, однажды сказал:

— Хотите вы, чтобы я высказал вам мое откровенное мнение? Мне кажется, что люди, занимающиеся бесполезными прениями о преимуществах различных взглядов и школ, не особенно умы, и те, которые их за то преследуют, уже совершенные чудовища.

*) Пустые размышления.

Оба узника совершенно сходились в мнении о несправедливости, постигшей их судьбы.

— Я заслуживаю,—говорил Простяк,—во сто раз более сожаления сравнительно с вами. Я родился свободным, как ветер. В жизни у меня было два блаженства: свобода и моя любовь. Меня лишили и того и другого, и вот мы оба тяготимся в оковах, не только не зная за что, но не имея даже возможности это узнать! Я двадцать лет жил жизнью гуронцев. Их называют варварами за то, что они мстят своим врагам; но нет примера, чтобы они платили неблагодарностью за дружеские услуги. Чуть успев приехать во Францию, я пролил за нее свою кровь! Я, может быть, спас мою родину и, в награду за то, меня заперли в эту могилу для живых, где я, наверно бы умер, если бы не встретил вас. Если в этой стране можно так приговаривать людей, даже их не выслушав, то, значит, в ней нет никаких законов! Ничего подобного не могло бы случиться в Англии! Вижу, что мне следовало сражаться не против англичан, а за них!

Новорожденная философия Простяка, как видим, не была еще достаточно сильна, чтобы укротить порывы его природы, оскорбленной в лучших ее правах. Справедливый его гнев разливался неудержимым потоком.

Собеседник ему не возражал. Разлука всегда разжигает неудовлетворенную любовь, и философия помощи в этом случае не окажет. Простяк вспоминал Сент-Иъ так же часто, как вдалеке и в метафизические размышления. Чем более очищался и развивался его ум, тем пламеннее он любил. Он прочел несколько новых романов, но не нашел в них того, что гармонировало бы с

состоянием его духа. Сердце его всегда отзывалось на прочитанное.

— У всех этих авторов,—говорил он,—есть только умничанье да риторика! *).

Добряк-янсенист, будучи невольным слушателем его рассуждений, мало-по-малу стал относиться к ним сочувственнее и сам. Любовь прежде казалась ему грехом, в котором следовало каяться на исповеди; теперь же она стала представляться ему чувством столь же благородным, сколько и нежным, ведущим не к одному лишь размягчению души, но также к ее возвышению, и способным привести даже к добродетели. Словом, свершалось чудо: гуронец оказался проповедником, а янсенист—новообращенным.

XV.

Прелестная Сент-Ив выдерживает серьезное искушение.

Сент-Ив, страдавшая от любви еще более, чем ее возлюбленный, отправилась к Сен-Пуанжу в сопровождении своей хозяйки. Обе густо закутали лица вуалью. Подходя к дому, встретили они первым лицом приора Сент-Ив, вышедшего из двери дома сановника. Сент-Ив пришла в ужас, но подруга поспешила ее успокоить.

— Теперь-то,—сказала она,—вам и надо увидаться с Сен-Пуанжем во что бы то ни стало. Брат ваш, без сомнения жаловался на вас, а в этой стране обвинители всегда успевают добыть своего, если обвиненные не сумеют разрушить их доводов. Я же убеждена (если не они-

*) Пустославие.

баюсь уже очень грубо), что ваша личная просьба будет иметь гораздо больший успех, чем жалобы вашего брата.

Ободрительное слово подкрепляет решимость любящих лучше всего. Сент-Ив вошла в приемную. Ее молодость, красота и взгляд нежных глаз, затуманенных слезами, обратили на нее внимание всех присутствовавших. Подчиненные сановника забыли на минуту свои вечные самолюбивые заботы о себе и увлеклись, невольно залюбовавшись видом красоты. Сент-Ив, наконец, вызвали в кабинет Сен-Пуанжа. Она изложила свое дело трогательно и просто. Сен-Пуанж расчувствовался и поспешил успокоить бедную девушку, дрожавшую от волнения, как лист.

— Придите,—сказал он ей,—сегодня вечером. О вашем деле надо подумать и поговорить серьезно. Теперь вы видите сколько у меня народа. Каждого просителя приходится выслушивать и удовлетворять второпях. Вас же я должен выслушать с полным вниманием.

Сказав ей затем несколько любезных слов относительно ее наружности, он заключил приглашением явиться к нему в семь часов вечера.

Само собой разумеется, что приказ этот был исполнен. Набожная подруга сопровождала ее и в этот раз, но, пропустив ее в дверь кабинета сановника, осталась сама в приемной, где и занялась каким-то душевным чтением.

— Можете ли вы себе представить,—так начал Сен-Пуанж любезно свое обращение к вошедшей,—что ваш брат являлся ко мне с требованием выдать декрет о заточении вас в тюрьму! Но верьте, что я скорее выдам декрет об отправке его самого обратно в Бретань.

— Увы!—возразила Сент-Ив,—должно быть, »

вашей стране эти декреты выдаются! очень щедро и легко, если за ними можно являться из провинции и требовать, как пенсии. Но я далека от мысли просить о чем-нибудь в ущерб моему брату. Я могла бы пожаловаться на него за многое, но я уважаю свободу людей и прошу только свободы человеку, которого люблю! Человеку, который спас королю целую провинцию и будет честно и храбро ему служить в будущем! Он — сын храброго воина, павшего за короля в битве. В чем же он виновен? За что поступили с ним так жестоко, даже не выслушав?

Сен-Пуанж показал ей доносы шпиона-иезуита и коварного судьи.

— Как! — воскликнула Сент-Ив. — Возможно ли, чтобы на свете существовали такие чудовища! Хотят силой выдать девушку за смешного идиота, сына злого негодяя! И по таким-то доносам разбивают жизнь и судьбу честных граждан!

При этих словах она, рыдая, бросилась на колени, умоляя освободить того, кто был ей дороже всего на свете.

Красота ее сверкала в таком блеске, что у Сен-Пуанжа закружилась голова. Потеряв сознание всякого стыда, он выразил ей в прозрачном намеке, что готов сделать для нее все, если только получит в награду первый цветок того счастья, которое предназначалось для дорогого ей человека. Сент-Ив, пораженная и смущенная, долго притворялась будто не поняла сказанного. За намеком последовало разъяснение. За сдержанной речью полилась другая, более настойчивая и определенная. Была предложена не только отмена приказа об аресте, но сверх того полились обещания денег, почестей, полного бес-

печения. Жажда добиться желаемого доводила посулы до безграничности.

Сент-Ив, рыдая, опустилась в бессилии на софу, едва веря своим глазам и ушам. Сен-Пуанж бросился пред ней на колени. Надо сказать, что он был очень не дурен собой и мог вполне рассчитывать на успех в подобных случаях. Но Сент-Ив слишком обожала своего Простяка, и изменить ему даже ради спасения его жизни казалось ей преступлением величайшим и невозможным. Сен-Пуанж, между тем, продолжал рассыпаться в мольбах и обещаниях. Голова его закружилась до того, что, наконец, он прямо отрезал ей, что иного средства спасти любимого ею до такой степени человека от тюрьмы нет и не будет! Разговор затянулся. Набожная подруга, читая в приемной свою благочестивую книгу, недоумевала, что могло это значить.

«О чем они толкуют целых два часа?—невольно спрашивала она сама себя.—Никогда приемы Сен-Пуанжа не длились так долго. Неужели он резко отказал этой бедной девушке, и она продолжает без пользы его умолять?»

Сент-Ив, наконец, появилась на пороге кабинета, смущенная, расстроенная и почти лишенная возможности сказать два слова. Много мыслей проносилось у нее в голове о таких подвигах знатных и полузнатных лиц, для которых ничего не значила свобода мужчин и честь женщин.

Она молчала во все продолжение обратного пути, но, придя домой, не выдержала и, разрывшись, рассказала своей приятельнице все. Та с испуга осенила себя даже крестным знаменем.

— Надо вам,—сказала она, наконец,—посовет-

товаться с нашим милым духовником, готовым к услугам всех. Он имеет на Сен-Пуанжа большое влияние и исповедует в его доме почти всех горничных. Он—очень умный, благочестивый человек и руководит совестью даже многих дам из высшего круга. Доверьтесь ему, как всегда доверялась я и в этом не раскаялась ни разу. Нам, слабым женщинам, руководство мужчин необходимо.

— Хорошо, хорошо, — пробормотала Сент-Ив,—отправляюсь к почтенному отцу завтра же.

XVI.

Сент-Ив советуется с иезуитом.

Придя к духовному отцу, Сент-Ив немедленно рассказала ему, как один знатный и развратный вельможа предложил освободить из заточения того, кто должен был сделаться ее законным мужем, но потребовал в награду за то уже совсем незаконного с ее стороны поступка. К этому она поспешила добавить, что одна мысль об этом возмущала ее до глубины души, и что если бы от нее потребовали жизнь, то она гораздо скорее решилась бы пожертвовать ею, чем добродетелью.

Почтенный пater вскипел негодованием.

— Что за ужасный, что за закоснелый грешник!—воскликнул он.—Скажи мне, достойная дочь, имя этого нехорошего человека; наверное это какой-нибудь янсенист; я немедленно обличу его перед преподобным отцом Ла-Шезом. Он велит засадить его туда, где томится теперь тот, кто будет твоим супругом.

Бедная девушка, после долгого раздумья и не-

решительности, назвала, наконец, имя Сен-Пуанжа.

— Сен-Пуанж!—воскликнул иезуит.—Ах, моя дочь, ведь это совсем изменяет характер дела. Сен-Пуанж—родственник величайшего министра из всех, каких мы только имели; он—человек почтенный, всегдашний покровитель всего доброго и, сверх того, вполне добрый христианин! Не может быть, чтобы подобная мысль пришла ему в голову! Ты, наверно, ослышалась!

— Ах, почтенный отец,—возразила Сент-Ив,—поверьте, что я слышала как нельзя лучше. Гибель ждет меня, все равно, что бы я ни сделала. Мне остается выбирать только между горем и стыдом! Мой возлюбленный умрет заживо погребенным, если я его не спасу, а сделать это могу, только став недостойной жить сама. Что выбрать? Как поступить?..

Иезуит постарался успокоить ее и утешить, приведя такие доводы:

— Во-первых, не произноси, дочь моя, никогда слова: «мой возлюбленный». В слове этом звучит мирской,—следовательно, грешный, отголосок. Говори: «мой муж». Положим, вы еще не соединены узами брака, но все равно обещались это сделать; отсюда вывод, что ты можешь считать его и называть мужем совершенно законно. Во-вторых, будучи твоим мужем в надежде, он еще не стал им в действительности. Отсюда другой вывод, что, сделав ему неверность, ты отнюдь не вступишь в грех прелюбодеяния, грех ужасный, которого надо избегать всеми силами. В третьих, поступки не считаются грешными и дурными, если делаются с благой целью. А какая же цель может быть выше спа-

сения св
представ
жешь р
Так, при
340-м год
могший в
дать, за ч
вопреки и
там ничег
поднялся
ренного б
горазумне
тить этот
разделить
женщина
спасти жи
мость ее
ными лич
нул, вслед
шен. Но,
сения его
что если
примерами
гочестивы
не совету
сумеешь
почину. С
тебя не о
лить за те
к Его вян
Красави
иезуитским
жением са
своей при
покуситься
что, как н

сения своего мужа? В четвертых, древность представляет много примеров, которыми ты можешь руководствоваться в настоящем случае. Так, при проконсуле Септимие Апиндинусе, в 340-м году нашей эры, жил бедный человек, не могший воздать Цезарю, что следовало ему воздать, за что и был приговорен к смертной казни, вопреки известному правилу, что где ничего нет, там ничего не получит даже сам король. Вопрос поднялся из-за одного фунта золота. У приговоренного была жена, славившаяся красотой и благородием. Один старый богач обещал заплатить этот фунт под условием, что она согласится разделить с ним позорный грех. Благоразумная женщина нимало не сочла дурным поступком спасти жизнь своего мужа, и благородная решимость ее была вполне одобрена очень почтенными лицами. Старый негодяй, правда, ее обманул, вследствие чего муж ее все-таки был повешен. Но, по крайней мере, она сделала для спасения его все, что могла. Поверь мне, моя дочь, что если иезуит подкрепляет свои советы такими примерами, то, значит, примеры эти имеют благочестивый источник. Я, впрочем, окончательно не советую тебе ничего. Ты умна, а потому сумеешь спасти твоего мужа по собственному почину. Сен-Пуанж человек честный и, наверно, тебя не обманет: в этом я ручаюсь. Я буду молить за тебя Небо и надеюсь, что все устроится к Его внявшей славе.

Красавица, напуганная и взволнованная иезуитским советом не менее, чем и предложением сановника, едва могла добраться до дома своей приятельницы. В отчаянии она готова была покуситься на самоубийство, удрученная мыслью, что, как ни рассуждай, много выбора между по-

гибелью своего возлюбленного и потерю чести для нее не было. А как же было потерять то, что полностью принадлежало ее несчастному другу!

XVII.

Она погибает ради благой цели.

Сент-Ив в отчаянии дошла до того, что умоляла свою приятельницу лишить ее жизни; но та, снисходительная во взглядах на жизнь не менее, чем был снисходителен сам иезуит, высказалась еще яснее, чем он.

— Увы!—сказала она,—вы должны знать, что при здешнем дворе, так прославленном за свое изящество и любезность, достичь чего-нибудь только и можно подобным средством. Места, как самые пустые, так равно и наиболее значительные, обыкновенно получают помощью именно той жертвы, какую требуют от вас. Вы внушаете мне сочувствие и доверие, а потому откровенно сознаюсь вам, что еслиб я была щепетильна, как вы, то муж мой никогда не получил бы той маленькой должности, которая, как она ни мала, всетаки дает нам возможность существовать. Он знает это хорошо, но не только не сердится, а, напротив, видит во мне свою благодетельницу, на себя же смотрит, как на мое создание. Неужели вы думаете, что люди, стоящие во главе управления провинциями и даже армиями, обязаны этими почестями исключительно своим заслугам? Многие возведены в их сан женами, и только ими! Важные военные посты требовались в награду за любовь и отдавались красавицам по конкурсу их красоты. Положение, в каком очутились вы, важно и серьезно.

в высшей степени. Вопрос—в том, чтобы освободить того, кто вам дорог, и получить возможность выйти за него замуж. Исполнить это—ваш священный долг. Многие знатные дамы, как я уже вам сказала, поступали таким образом, и никому даже в голову не приходило бросить в них за то камнем. Вам, напротив, будут рукоплескать; будут говорить, что если вы и впали в грех, то по избытку добродетели.

— Ах, что за добродетель! — воскликнула Сент-Ив. Что за лабиринт низостей! Что за страна! Вот когда узнала я людей! Какой-то Ла-Шез и какой-то смешной судья лишили свободы дорогого мне человека! Мои родные меня преследуют; а тот, кто мог бы протянуть мне руку помощи, делает это только под условием моего бесчестия! Один иезуит погубил честного человека; другой иезуит губит меня! Я окружена кознями со всех сторон и чувствую, что миг моей гибели близок! Мне осталось только или наложить на себя руки, или увидеть во что бы то ни стало короля! И я добьюсь этого! Я встану на его дороге, когда он пойдет в церковь или в театр! Я брошусь к его ногам и расскажу ему, как было все!

— Вас до короля не допустят,—возразила ее приятельница. Да если бы вам и удалось подать ему вашу жалобу, то поверьте, что Лувуа и Ла-Шез найдут средство схоронить вас затем в каком-нибудь монастыре до конца ваших дней.

Пока практическая особа усиливала таким образом еще более отчаяние бедной девушки, вонзая нож безнадежности в ее сердце, внезапно явился курьер от Сент-Пуанжа и подал письмо, к которому была приложена пара великолепных се-

рег. Сент-Ив с негодованием оттолкнула подарок, но приятельница успела бережно его подхватить и спрятать.

Когда, по уходе курьера, письмо было прочитано, то в нем оказалось приглашение обеим приятельницам на ужин вечером этого дня. Сент-Ив стремительно об'явила, что не поедет ни за какие блага! Приятельница предложила ей хоть примерить брильянтовые серьги. Сент-Ив, конечно, отказала и в этом. Весь день прошел в волнении и слезах. Наконец, доведенная до отчаяния, полная мыслями о своем возлюбленном, не зная на что решиться, не понимая, куда ее хотели везти, она позволила увлечь себя на роковой ужин почти-что силой. Но и тут надеть серьги отказалась она решительно. Приятельница захватила их с собою и успела вдеть ей в уши перед самым ужином. Сент-Ив была до того смущена и взволнована, что позволяла делать с собою все, что было угодно. Влюбленный ликовав, видя в этом хорошее предзнаменование. В конце ужина приятельница потихоньку встала и незаметно скрылась в другую комнату. Тогда был показан готовый подписанный приказ об отмене ареста, ассигновка на очень значительную сумму, назначение на важную военную должность и много других, таких же сладких посул.

— Ах!—горестно воскликнула Сент-Ив,— как бы я вас полюбила, если бы вы не требовали любви от меня!

Наконец, после долгой сцены отчаяния, слез, борьбы и молений, пришлось всетаки в бессилии уступить!. Искрой утешения было для нее при этом только то, что во все время, пока жестокий

вымогатель наслаждался своей насильной победой, она рисовала пред собой в мечтах образ своего милого Простяка.

XVIII.

Она освобождает своего возлюбленного и янсениста.

Чуть занялось утро, Сент-Ив помчалась в Париж, с приказом министра в руках. Трудно описать, что происходило в ее сердце во время этого путешествия. Пусть вообразит себе, кто может, чистую, благородную душу, гнушавшуюся своим позором и в то же время пылавшую чистой любовью, страдавшую от угрызений совести и ликующую от восторга при мысли, что ею спасен обожаемый человек. Чувство горя, стыда и радости успеха вихрем проносились в ее уме, чередуясь одно за другим. Это была уже не та скромная, простая девушка, на чьи манеры и взгляды наложило свою печать провинциальное воспитание. Любовь и горе сделали ее вполне сложившимся человеком. Чувства ее развились и окрепли, точно так же, как развился в заточении ум ее несчастного друга. Девушки выучиваются чувствовать еще скорее, чем мужчины думать. Случившееся с ней научило ее большему, чем мог бы научить монастырь в целые годы.

Она оделась так просто, как только могла, сбросив с отращением богатый наряд, в котором явилась пред своим роковым благодетелем. Дорогие серьги оставила в руках своей приятельницы, даже на них не взглянув. Смущенная

и сияющая, обожая Простяка и гнушаясь сама собой, остановилась она, наконец,

Пред зданьем страшным тем, где торжество
для мести,

И где порок с добром страдают часто
вместе *).

При выходе из кареты, силы ей изменили до того, что она не могла идти одна. Ей помогли. Войдя со слезами, бьющимся сердцем и опущенным взглядом, подала она начальнику тюрьмы полученную бумагу, но не могла выговорить при этом двух слов. Голос ее прерывался, и слова давили горло. Начальник благоволил к своему пленнику и был очень рад его освобождению. Сердце этого человека не успело очерстветь подобно сердцам его сослуживцев-тюремщиков, думавших только о количестве получаемого ими вознаграждения за свой труд, строивших свое довольство на горе их жертв и радовавшихся ужасной радостью при виде слез несчастных.

Он велел призвать узника в свою комнату. Влюбленные, увидя друг друга, оба лишились чувств. Сент-Ив долго не могла прийти в себя и была ободрена только ласками своего друга.

— Вероятно, это ваша жена, — сказал губернатор. — Зачем же вы мне не сказали, что вы женаты? Я слышал, что вы обязаны нашей свободой единственно ее энергической настойчивости.

— Ах, я недостойна быть его женой! — прошептала дрожащим голосом бедная женщина и, сказав это, лишилась снова чувств.

Очнувшись, она подала дрожащей рукой приказ об освобождении и письменное обещание с

*) Две строки из „Гейриады“ Вольтера (см. биографический очерк „Король—Вольтер“).

назначении на должность. Простяк, не менее изумленный, чем растроганный, казалось, очнулся от тяжелого сна для того, чтобы впасть в новый.

— За что же,—воскликнул он,—был я здесь заперт? Как могла ты меня освободить? Кто те чудовища, чьей злостью я был заключен? Ты божество, сошедшее с неба, чтобы мне помочь!..

Сент-Ив, слушая это и смотря на своего друга, невольно краснела и опускала полные слез глаза. Она рассказала, наконец, ему все, что знала и вынесла, за исключением лишь того, что хотела бы скрыть навсегда, но что всякий иной, не столь наивный в знании жизни и придворных обычаев, каким был Простяк, легко угадал бы и без рассказа.

— Неужели,—повторял он,—этот презренный судья мог точно лишить меня свободы? Если есть люди, похожие на тех отвратительных животных, которые существуют только за тем, чтобы делать зло, то как же допустить, чтобы в беде моей, наряду с этим судьей, был равно виновен иезуит, духовник короля? Я теряюсь в догадках: за что же стал меня преследовать этот плут? Неужели он вообразил, что я—янсенист?.. Но, скажи, как вспомнила обо мне ты? Ведь, я этого не стоил! В то время я был еще жалким дикарем. А ты без помощи и без совета предприняла поездку в Версаль! Явилась, чтобы разбить мои оковы! Значит, красота и невинность обладают каким-то талисманом, перед которым смягчаются даже железные сердца!

При слове «невинность» Сент-Ив, не выдержав, разрыдалась. Она не сознавала, до чего была, действительно, чиста и невинна в томившем ее проступке.

Между тем Простяк продолжал:

— Ангел, разбивший мои оковы! Если ты обладала властью (какой—я не могу понять), чтобы заставить оказать правосудие мне, то сделай, прошу, то же самое для одного бедного старика, которому я обязан тем, что он научил меня думать, как ты научила меня любить. Нас с ним соединило общее горе; я люблю его, как отца, и не могу жить без него так же, как и без тебя.

— Мне просить этого человека еще раз?! — сорвалось с ее губ.

— Да, да,—подхватил Простяк,—я хочу быть обязанным всем только тебе и никому больше. Напиши этому властному человеку! Дополни свои благодеяния! Кончи начатое! Сделай чудо еще раз!

Сент-Ив видела, что должна непременно исполнить просьбу своего возлюбленного, но, взявшись за перо, почувствовала, что рука отказывалась ей служить. Три раза начинала она письмо и три раза разрывала его в клочки. Наконец, успела кончить кое-как, после чего оба удалились, нежно простясь со старым мучеником веры в благодать.

Радостная и грустная, Сент-Ив отправилась к своему брату-приору, жилище которого было ей известно. Простяк нанял для себя отдельную комнату в том же доме.

Едва успели они водвориться, как было получено письмо от ее покровителей с приказом о немедленном освобождении Гордона и с любезной просьбой о новом свидании на другой день. Оказалось, таким образом, что за каждое доброе дело Сент-Ив приходилось платить каждый раз ценой своего бесчестия. Обычай так торговать для удовлетворения своих прихотей люд-

ским счастьем и горем показался ей до того отвратительным, что, поспешив отдать Простяку полученный приказ об освобождении Гордона, она с тем вместе отказала наотрез в просьбе о новом свидании с покровителем, которого не могла видеть без стыда и отчаяния.

Простяк покинул ее лишь для того, чтобы освободить своего друга. По дороге он не переставал размышлять о превратностях событий этого мира и о мужественной добродетели девушки, благодаря которой два несчастливца обрели вновь радости жизни.

XIX.

Простяк и прелестная Сент-Ив встречаются со своими родственниками.

Благородная и достойная уважения неверная сошлась, наконец, со своим братом Сент-Ивом, с приором Святой Горы и добрейшей тетюшкой Керкабон. Изумление, поразившее их при встрече, не поддается описанию, но чувства, волновавшие при этом всех, были различны.

Сент-Ив со слезами молил свою сестру о прощении, которое, конечно, и получил. Приор и его сестра плакали также, но от радости. Злокачественный судья и его дурак-сын не присутствовали при этой трогательной сцене. Оба, услышав весть об освобождении Простяка, страшно испугались, как бы не вышло из этого какой-нибудь беды для них, а потому поспешно ускакали домой, торопясь скрыть в глуши провинции свой страх и свою глупость.

Четверо собравшихся, волнуемые своими раз-

личными чувствами, с нетерпением ожидали возвращения Простяка и его освобожденного друга.

Аббат Сент-Ив сидел, стыдясь поднять на свою сестру глаза. Добродушная Керкабон громко выражала свою радость по поводу предстоящего свидания с племянником.

— Вы его увидите, — сказала Сент-Ив, — и увидите также, что он сделался совсем другим человеком. В нем изменилось все: ум, чувства, манеры. Он стал настолько же достоин уважения, насколько был прежде дик и наивен, и, верьте мне, будет впредь украшением вашей семьи. Грустно мне думать, что я не могу быть для нее тем же!

— Ты, — возразил приор, — стала тоже совсем другой, и я не могу понять причины, произведшей в тебе эту перемену.

Среди этого разговора вернулся Простяк под руку со своим янсенистом. Общее оживление и восторг удвоились. Последовали, конечно, трогательные объятия с дядей и теткой. Аббат Сент-Ив готов был встать пред рожденным как бы вновь Простяком на колени. Влюбленные разговаривали друг с другом взглядами, в которых отражалось все, что они чувствовали. Радость и полное довольство сверкали в глазах одного, тогда как смущение и боязнь невольно сквозили во взорах другой. Присутствовавшие не мало дивились такому смешению горя с радостью.

Старик Гордон приобрел с перах же минут знакомства общее сочувствие всей семьи. Он делил страдания с дорогим узником и, конечно, выиграл этим много в расположении его друзей. Обязанный своим освобождением порыву любви, он, естественно, стал с этой минуты снисходительно смотреть на это чувство. Суровость его

прежних взглядов, видимо, смягчилась. Он следился более человеком, точно так же, как и Простяк. Они рассказали за ужином историю своих бедствий. Оба приора и тетюшка слушали с той же жадностью, с какой дети слушают сказки о привидениях или, лучше говоря, как люди, вообще всегда особенно интересующиеся повестями о чужих несчастиях.

— Ведь вот теперь,—говорил Гордон,—можно наверно насчитать не менее пятисот хороших, ни в чем невинных людей, томящихся в точно таких же оковах, которые разбила для нас престелная Сент-Ив, и никто не знает об их беде! Рук, наносящих горе, найдутся тысячи, а оказывающих несчастным помощь—много-много одна или две.

Это безусловно верное замечание усиливало еще более то смягченное состояние духа, в которое он был приведен, а равно и его благодарность. Триумф Сент-Ив разрастался. Удивлялись ее твердости, благородству души, и к удивлению этому невольно примешивалось то чувство уважения, какое всегда возникает относительно лиц, которых считают имеющими влияние и значение в высших сферах. Один аббат Сент-Ив порой задумывался, задавая себе вопрос: каким же, однако, чудом сестра его успела достичь таких результатов?

За стол сели рано. Среди ужина, вдруг, как снег на голову, явилась версальская приятельница Сент-Ив. Явилась она в карете, цугом в шесть лошадей, чем явно обличила, кому принадлежал экипаж. Не зная никого из присутствовавших, она вошла с гордым, надменным видом, как какая-нибудь высокопоставленная особа, занятая лишь

своим делом, и, едва кивнув головой, немедленно обратилась к Сент-Ив:

— Ну, что ж вы? Разве можно так поступать? Вас ждут, а вы не являетесь! Скорей, скорей! Вот ваши брильянты: вы их забыли!

Как ни тихо сказаны были эти слова, Простяк их расслышал. Брильянты сверкнули в его глазах. Брат Сент-Ив также насторожил уши, и только благодущный дядя с теткой не ощущали ничего, кроме изумления при виде такого, никогда даже не снившегося им великолепия. Простяк, научившийся во время своего заключения более здраво, чем прежде, судить о происходящем вокруг, был поражен, как громом, мелькнувшей в его уме мыслью, но успел быстро овладеть собой и сдержаться. Выражение его глаз, однако, не скрылось от Сент-Ив. Смертная бледность разлилась по ее прекрасному лицу, дрожь охватила все тело, ноги отказывались служить.

— Вы меня погубили!—воскликнула она, не владея собой, в лицо своей роковой приятельнице.—Вы принесли мне смерть!..

Крик этот окончательно пронзил Простяку сердце, но он и тут умел овладеть собой. Боязнь скомпрометировать Сент-Ив пред ее братом сковала его язык, хотя бледность лица явно выдавала, что он чувствовал.

Сент-Ив, сраженная этим видом, быстро увлекла за собою посланницу в соседнюю комнату и, бросив пред ней на пол брильянты, воскликнула:

— Не они меня погубили, не они! Вы это знаете хорошо! Никогда не увижу я человека, который мне их прислал!..

Практическая дама быстро подобрала рассу-

павшиеся брильянты, между тем, как Сент-Ив продолжала:

— Отдайте их тому, от кого их получили! Идите, не заставляйте меня краснеть еще более!

Посланица, пожав плечами, удалилась, решительно не понимая, как и чем могла быть вызвана сцена подобного сокрушения.

Между тем Сент-Ив, потрясенная и нравственно и физически, не могла более выдержать и принуждена была удалиться, чтобы лечь в постель. Не желая никого тревожить, она промолчала о том, что чувствовала, и объяснила свое намерение единственно усталостью, почему и просила позволения уйти. Она даже всячески успокаивала присутствовавших, прося их не тревожиться, и удалилась, бросив на своего друга взгляд, прожегший ему сердце.

Ужин, лишенный ее очаровавшего всех присутствия, сразу стал тих и серьезен. Но это была, впрочем, не та печальная серьезность, при которой не клеится разговор, а, напротив, серьезность интересная, рождающая темы для ясных и разумных разговоров, не похожая на пустую болтовню, столь любимую в обществе, хотя в ней нет ничего, кроме бессодержательной шумихи.

Гордон изложил в кратких словах историю янсенизма, молинизма *), а равно тех взаимных преследований, в которых настойчиво изошлись обе эти партии. Простяк раскритиковал подобного рода увлечения и нашел достойными

*) Учение испанского богослова Молина (1535—1601), который пытался согласовать понятия о предопределении и о свободной воле человека. Его взгляды пользовались сочувствием янсенистов.

глубокого сожаления людей, которые, не довольствуясь существованием и без того многочисленных предлогов для ссор и несогласий, выдумывают еще какие-то фантастические, основанные на совершенно непонятной метафизической чепухе. Гордон излагал факты. Простяк их оценивал. Присутствовавшие слушали с большим вниманием и явно чувствовали, как увеличивался их умственный кругозор. Речь зашла о несообразности людских бед с краткостью людской жизни. Заметили, что какому бы делу ни посвятил себя человек,—езде встретит он больше помех, чем удачи, и что высшие мира имеют основание жаловаться на судьбу точно так же, как и низшие. Как объяснить, что есть люди соглашающиеся за ничтожное вознаграждение делаться презренными орудиями и палачами для преследования точно таких же, как они, людей? С каким равнодушием имеющий власть подписывает иной раз приговоры, разрушающие счастье целых семей, и с какой зверской радостью наемные варвары исполняют подобного рода приговоры!

— Мне случилось, — сказал Гордон, — встретиться в юности с одним родственником маршала Марьяллака *), подвергшегося преследованиям за то, что он принадлежал к партии этого зна-

*) Луи Марьяллак (Marillac, 1572—1632), кавалерийский капитан, выдающийся женитьбой на итальянке, происходившей из знатного рода Медичисов. Он был назначен послом в Италию, потом губернатором в Версене, канцлер, получил звание маршала Франции, благодаря протекции королевы Марии Медичи. Но вместе с тем он приобрел врага в Ришелье, который, приравняв к некоторым служебным несправностям Марьяллака, велел предать его суду, встав на беспощадном приговоре. Марьяллак был казнен в Париже.

менитого страдальца. Обстоятельства принудили его покинуть родной город и поселиться в Париже под чужим именем. Это был старик семидесяти двух лет. Жена его, старушка почти тех же лет, не покидала мужа ни на шаг. У них был сын четырнадцати лет; он убежал из отцовского дома, поступил в солдаты, дезертировал, провел затем несколько лет в самом грязном распутстве и, наконец, пристроился как-то в отряд телохранителей кардинала Ришелье *). Этот поп имел телохранителей, так же, как и Мазарини. Ему удалось даже получить в этой шайке капральский жезл. И этому-то достойному молодцу было поручено арестовать бедного старика с женой, что он и исполнил с тем лакейским усердием, каким всегда стараются отличиться низкие души перед своими начальниками. По дороге в тюрьму бедняки горько плакали над своей бедственной жизнью и при этом громко высказывали, что заблуждения и гибель единственного сына считали они величайшим из своих несчастий. Сын их узнал, открылся им и, тем не менее, с циническим равнодушием водворил их в тюрьме, заявив, что исполнение приказаний преосвященного кардинала должно стоять выше всего. Кардинал достойно вознаграждал такое усердие.

— Я видел также,—продолжал Гордон,—как один из шпионов патера Ла-Шеза предал родного брата, в надежде получить награду, которой,

*) Кардинал Ришелье (1595—1642) был опекуном французского короля Людовика XIII и пользовался огромным влиянием при дворе. Его преемником был кардинал Мазарини (1602—1661)—первый министр того же Людовика XIII, сохранивший верховное управление страной и при его наследнике, Людовике XIV, которому было всего пять лет, когда умер его отец.

однако, не получил. Он умер с горя, но не от раскаяния, а от огорчения, что его надул иезуит. Во время моей долгой службы в качестве духовника, я довольно насмотрелся на интимные стороны семейной жизни. Не случилось видеть мне ни одной семьи, где жизнь не была бы отравлена каким-нибудь тайным гнетом, между тем как наружно все члены ее, надев маски довольства, казались плавающими в блаженстве. При этом я всегда замечал, что основной причиной несчастья была непременно корысть.

— Что касается меня,—продолжал речь Гордона Простяк,—то я думаю, что с благородной, чувствительной, благодарной душой можно всегда добиться в жизни счастья. По крайней мере, я лично уверен, что с прелестной и великодушной Сент-Ив проведем мы в полном довольстве и счастья всю жизнь! Я надеюсь,—прибавил он, обращаясь с дружелюбной улыбкой к приору,—что вы не откажете мне, как это было в прошлом году, в ее руке. Нынче ведь я буду вести это дело гораздо сдержаннее и скромнее.

Приор, в ответ, рассыпался в извинениях за прошлое и в уверениях своей вечной любви и привязанности.

Дядюшка Керкабон воскликнул, что день этого брака будет счастливейшим днем его жизни, а тетюшка, разливаясь в умиленных слезах, прибавила, что она всегда предвидела невозможность сделать Простяка поддьяконом.

— Ведь таинства равны все,—говорила она,—одно стоит другого. Авось, Бог даст, дождемся мы этой радости. Я буду посаженной матерью.

Затем все наперерыв принялись восхвалять достоинства прелестной Сент-Ив.

Возлюбленный ее слишком глубоко чувство-

вал, чем был ей обязан, и слишком ее любил для того, чтобы случай с брильянтами мог вызвать в его душе неприязненное к ней чувство. Выроненные ею и слышанные им слова: «Вы принесли мне смерть» приводили, правда, его в смущение и отравляли радость; но зато всеобщие восторженные похвалы достоинствам Сент-Ив служили противовесом этому чувству и усиливали еще более его любовь.

Имя Сент-Ив было на языке у всех. Речь только и была о счастье обоих влюбленных. Составлялись планы совместной жизни в Париже; строились проекты выгодных, широких предприятий—словом, дан был полный простор тем мечтам, которые так легко рождаются при малейшем призраке какой-нибудь надежды. Но Простяк не мог всетаки подавить в себе совершенно зловредного червяка, подтачивавшего эти мечты. Он перечитывал письменные обещания, подписанные Сен-Пуанжем, приказы, скрепленные рукою Лувуа. В разговоре об этих лицах ему описывали их, какими считали их в действительности. Каждый из присутствовавших говорил о министрах с той свободой застольной беседы, какая считается во Франции лучшим видом свободы из всех существующих.

— Если бы я был королем Франции,—сказал Простяк,—то вот какого выбрал бы себе военного министра. Это был бы, во-первых, человек из самого знатного рода,—иначе ему не стали бы охотно повиноваться служащие под его начальством дворяне. Затем он должен был бы предварительно пройти все военные должности, начиная с лейтенанта до генерала, и быть достойным звания маршала Франции. Это необходимо потому, что знать подробности службы

может только тот, кто их изучил на практике; а, сверх того, и офицеры стали бы гораздо охотнее повиноваться начальнику, доказавшему, подобно им, свою храбрость делом, чем кабинетному работнику, который, как бы ни был умен, мог бы предполагать ход кампаний только наугад. Я не прочь, чтобы министр мой не стеснялся расходами, хотя бы это даже иной раз не нравилось моему министру финансов. Желаю также, чтобы работа давалась ему легко, и чтобы он отличался в обществе веселостью нрава. Черта эта, обыкновенно, бывает присуща умным деловым людям, отличившимся заслугами, и очень ценится общественным мнением. Людям с таким характером легче дается самое дело и, сверх того, в нем гарантия от склонности быть жестоким.

Лузуа *), вероятно, не остался бы доволен программой Простяка. У него для оценки заслуг была другая мерка.

Между тем, пока вся компания беседовала за столом, положение Сент-Ив, видимо, ухудшалось. Показался сильный жар. Явно начиналась опасная горячка, но она терпеливо переносила страдания, не желая смущать общего веселого настроения.

Брат ее, заметив, что она не спала, тихонько подошел к изголовью постели больной и поражен ее видом с первого же взгляда. Остальные собеседники сбежались на его тихий призыв, конечно, с Простяком во главе. Встревоженный и опечаленный больше всех, он и тут, однако, выказал сдержанность, которою в числе прочих

*) Франсуа Мишель Ле-Теллье, маркиз де-Лузуа (1699—1691), был военным министром при Людовике XIV.

хороших качеств щедро одарила его природа. Уменьше вести себя начинало явно в нем преобладать над прежней порывистостью.

Немедленно было послано за ближайшим врачом. Это был один из тех верхоглядов, которые, бегая от одного больного к другому, определяют без долгого рассуждения болезнь первым, какое придет в голову, именем и начинают ее лечить первым попавшим средством, профанируя таким образом науку, в которой трудно избежать опасных ошибок даже при самом серьезном, здравом ее изучении. Прием прописанного им какого-то модного лекарства только ухудшила состояние больной. В тогдашнем Париже существовала мода даже на лекарства, доходившая раз до мании.

Впрочем, бедная больная сама ухудшала свое состояние сильнее самого врача. Скорбь духа убивала в ней тело. Отчаянные мысли вливали в ее кровь более опасный яд, чем могла это сделать самая зловредная лихорадка.

XX.

Прелестная Сент-Ив умирает. Последствия ее смерти.

Был приглашен другой врач. Этот, вместо того, чтобы предоставить в молодом, полном жизни, организме действовать природе, стал только предписывать все наперекрест своему коллеге. Болезнь приняла безнадежный оборот менее, чем в два дня. Мозг, считаемый органом понимания, был поражен так же, как и орган чувств—сердце.

Какою неностижимой силою телесные орга-

ны подчинены мысли? Почему горестное состояние духа нарушает правильное обращение крови, а кровь может, наоборот, производить расстройство наших мыслительных способностей? В чем состоит сущность этого безусловно существующего таинственного тока, который с быстротой света пронесется в один миг по всем каналам жизни, производя феноменальные явления чувств, памяти, горя, радости, мысли и, наконец, и безумия? Чем заставляет он нас помнить то, что нам хотелось бы забыть, делая из думающего животного-человека предмет, достойный удивления или, наоборот, жалости и слез?

Все эти, вполне естественные, но редко приходящие людям в голову мысли, быстро пронеслись в уме Гордона, нисколько не уменьшая, однако, глубоко чувствуемого им горя. Он не был из числа тех жадных философов, которые выставляют на показ свою будто бы нечувствительность к несчастиям, корча из себя бесстрастных наблюдателей. Судьба несчастной Сент-Ив терзала его так, как стал бы терзаться отец при виде медленно умиравшего собственного ребенка. Аббат Сент-Ив был в полном отчаянии. Приор с сестрой разливались потоками слез. Но кто взялся бы описать отчаяние несчастного любовника? Высшей степени горя не может описать никакой язык,—они для этого слабы все.

Тетка, едва живая сама, держала голову умиравшей в своих слабых руках. Брат стоял возле кровати на коленях. Влюбленный жених прижимал к губам холодевшую руку и обливал ее слезами. Он называл страдальицу своей благодетельницей, надеждой, жизнью, половиной самого себя, своей женой.

Услышав слово «жена», она вздохнула, подняв на него полный нежности взгляд, но вслед затем вдруг откинулась с раздирающим криком назад. Приступы болезни давали ей некоторые минуты отдыха; и угнетенные чувства, восстанавливаясь, позволяли душе вновь мыслить и высказываться. Воспользовавшись одним из таких светлых мгновений, она воскликнула:

— Я твоя жена! О, мой милый, это имя, это счастье, эта награда больше не для меня! Я умираю, и умираю заслуженно! Тебя, моего дорогого, пожертвовала я адеким демонам! Дело свершилось! Я наказана! Прощайте все! Будьте счастливы!

Эти нежные и ужасные слова, хотя и не были поняты, но вселили ужас и отчаяние в сердца всех. У нее достало силы их об'яснить, и тут, конечно, уже каждое слово вызывало вопль горя, ужаса и изумления. Беспредельная ненависть вскипела в душе всех к недостойному вельможе, не постыдившемуся поправить ужасную несправедливость гнусным преступлением и при этом насильно сделать невинность из невинностей своей сообщницы.

— Ты виновна? Ты!—восклидал несчастный любовник.—Никогда! Преступление рождается в сердце, а твое принадлежит мне, и в нем ничего нет, кроме добра!

Эти слова Простяка настолько выражали искренность его чувств, что Сент-Ив несколько оживилась и утешилась. Мысль быть всетаки любимой изумила ее и восхитила. Старик Гордон наверно осудил бы ее в былое время, когда он был еще ярым янсенистом; но теперь, поумнев, он проникся к Сент-Ив уважением и заливался искренними слезами.

Среди этих слез и страхов, когда опасность бесценной больной заставляла трепетать сердца всех, внезапно было объявлено о прибытии придворного курьера.

— Курьер! От кого? Зачем?

— От господина королевского духовника к ириору Святой Горы, было ответом.

Привезенное письмо было, впрочем, написано не самим достопочтенным Ла-Шезом, но лишь его камердинером, преподобным патером Вадбледом, лицом, занимавшим в то время очень значительное положение. Он объявлял архиепископам волю своего господина, назначал им часы аудиенции, обещал и раздавал доходные места, а иной раз даже очень просто заканчивал возбуждавшиеся дела приказами об аресте просителей. В письме к аббату Святой Горы было на этот раз сказано, что, по дошедшему до его преосвященства сведению, заточение Простяка в тюрьму оказалось происшедшим по недоразумению, на которое, при очень часто случающихся мелких неприятностях такого рода, не стоило обращать внимания. Затем из'яснялось, что приличие требовало, чтобы приор завтра же представил господину Вадбледу как своего племянника, так равно и смиренного Гордона. Господин же Вадблед, с своей стороны, обещал ввести их к достопочтенному Ла-Шезу и к Лувуа, которые почтят обоих в своих передних двумя-тремя обидительными словами.

В письме было прибавлено, что подвиг Простяка в сражении с англичанами будет доведен до сведения короля; что его величество, вероятно, заметит Простяка, проходя по галлерсе, и как знать, может быть, удостоит даже всемилостивейшим кивком. В заключение из'являлось

очень возможное предположение, что придворные дамы, заинтересовавшись Простяком, пригласят его присутствовать при их туалете и даже обратятся к нему на выходе с любезным приветствием: «Здравствуйте, господин Простяк!» А после этого речь о нем уже наверно заведется за королевским ужином. Письмо было подписано. Ваш добροжелательный Вадблед, братиезунт.

Когда приор громко прочел это письмо, племянник его, хотя и сдержал овладевший им порыв бешенства настолько, что не сказал ни слова посланному, но всетаки обратился с вопросом к Гордону, прося его высказать мнение о тоне полученного послания.

— Эти лица,—сказал Гордон,—обращаются с людьми, как с обезьянами: они их бьют, чтобы заставить танцевать.

Простяк, в котором вскипел и поднялся его прежний характер (что всегда бывает в минуты сильных душевных потрясений), разорвал письмо в клочки и швырнул ими в лицо посланному, крикнув:

— Вот мой ответ.

Приору при виде этого почудилось, что двадцать приказов об аресте уже обрушились на его голову, как громовые стрелы. Мигом настроил он послание, в котором молил извинить племянника за это «увлечение молодости»—имя, каким спешил он прикрыть порывы его благородных чувств. Неприятное впечатление этого происшествия скоро испарилось, хотя, к сожалению, вследствие причины еще более грустной!

— Сент-Ив угасала явно! Она уже начала впадать в то полузабытье, которое всегда бы-

вает знаком, что природа истощила в борьбе с недугом последние силы.

— О, мой милый,—шептала она коснеющим языком,—я искупаю мой проступок смертью, но умираю утешаясь мыслью, что ты свободен! Я обожала тебя в минуту моей тебе измены, обожаю и теперь, говоря тебе последнее «прости!»

В ней не замечалось ни малейшего старания выказывать искусственную твердость духа перед неизбежным, чем нередко вызываются впоследствии изумленные возгласы свидетелей смерти: «Подумайте, как безропотно она умерла!» Умереть без слез и горьких сожалений в двадцать лет, потеряв не только любимого человека, но и то, что зовут честью, не был бы в состоянии никто. Она слишком хорошо чувствовала всю скорбь своего положения, и это ясно высказывалось в ее словах и взорах, говоривших еще крапсноречивее слов. В минуты, когда силы ее возвращались настолько, что давали возможность плакать, она плакала так же горько, как и все ее окружавшие.

Пусть хвалит, кто хочет, те случаи смерти, когда умирающий переходит к своему разрушению, повидимому, с тупым равнодушием. Так умирают лишь животные. Мы же умираем подобной смертью только в тех случаях, когда старость или болезнь, пригнетая наши умственные способности, превращает почти в животных и нас. Чем более мы теряем, тем более о том сожалеем. И тот, кто скрывает в себе выражение этого чувства, доказывает только, что не расстанется с тщеславием даже у двери гроба.

Нечего говорить, что слезы и горе роковой минуты были неописуемы. Отчаяние Простяка граничило с неистовством. Люди с сильной, твер-

дой душой, обыкновенно выражают свое горе энергичнее, чем кроткие и слабые. Добряк Гордон, хорошо изучивший характер Простяка, имел полное право опасаться, чтобы несчастный, оправясь от первого припадка отчаяния, не наложил на себя рук. От него поспешили отобрать все оружие. Он это заметил и, обратясь, повидимому, спокойно, без слез и без крика к Гордону и прочим, сказал:

— Неужели вы думаете, что кто-нибудь на свете имеет право и власть помешать мне кончить жизнь, если я этого захочу?..

Гордон остерегся возражать ему на это тем пустословием, каким обыкновенно пытаются в подобных случаях утешать людей, толкуя им, что нельзя злоупотреблять свободой до решимости лишить себя жизни даже при ее невыносимости, что не следует покидать жилище даже в том случае, если в нем нельзя жить; что человек на земле подобен солдату на своем посту. Как будто высшему Существо не все равно, будет ли находиться здесь или в другом месте ничтожная кучка праха? Твердая, продиктованная отчаянием, решимость не обратит ни малейшего внимания на бессильные аргументы такого рода. Катон *) ответил на них ударом кинжала.

Мрачное молчание Простяка, его темные, влажные глаза, трясущиеся губы, нервная дрожь, пробегавшая по всему телу,—все это поселяло ужас в душу окружающих, смотрезших на него с тем чувством сожаления и вместе страха, которое лишает возможности говорить и выра-

*) Катон-Младший, римский полководец (в первом веке до Рождества Христова), после неудачного оборота войны в Африке, покончивший жизнь самоубийством.

жается лишь отрывочными восклицаниями. Хозяйка дома прибежала со всей семьей. На него смотрели с ужасом, за ним следили, наблюдали малейшее его движение. Похолодевшее тело дорогой покойницы были перенесено в зал нижнего этажа далее от глаз несчастного, а он все смотрел, как будто ища ее попрежнему, хотя глаза его едва ли что-нибудь видели.

Гроб, по обычаю, поставили у входных дверей; два священника, поместясь возле кропильницы, начали читать равнодушным голосом молитвы. Некоторые прохожие окропляли гроб (больше по привычке) несколькими каплями святой воды; другие проходили, не обращая на него никакого внимания; родственники продолжали плакать, как вдруг, среди этой сцены смерти и горя, неожиданно явился Сен-Пуанж с версальской приятельницей покойной.

Блажная вспышка его страсти, удовлетворенная только один раз, превратилась в настоящую любовь. Отказ Сент-Ив принять подарки уколол до нельзя его самолюбие. Патер Ла-Шез никогда не снизошел бы до посещения подобного обыкновенного дома, но Сен-Пуанж, преследуемый день и ночь образом Сент-Ив, и пылая своей страстью, которая, удовлетворенная только один раз, разгорелась сильнее прежнего, не поколебался ни минуты броситься сломя голову на поистинно женщины, которую он, наверно, не захотел бы видеть и трех раз, если бы она предложила ему свои об'ятия сама.

Выйдя из кареты и нагнувшись прежде всего на гроб, он отвернулся с знаком того отвращения, какое обыкновенно выказывают в подобных случаях счастливец избалованные жизнью до того, что им кажется, будто судьба должна с

особенной заботой устранять от их взоров все, что может напомнить им о темных сторонах этой жизни. Он взойшел на лестницу. Спутница его колюбопытствовала узнать, чьи готовились похороны. В ответ было произнесено им Сент-Ив. Услышав это, она вскрикнула, поблдевав. Сен-Пуанж быстро обернулся. Изумление и горе волной хлынули в его душу. Добряк Гордон приостановил чтение печальных молитв и объяснил знатному посетителю в кратких словах историю печальной катастрофы, сохраняя тот внушительный вид, какой всегда отражается на лице людей, сообщающих горестную правду. Сен-Пуанж не был зол от природы. Вечная беготня по делам и нескончаемая погоня за удовольствиями мешали ему заглянуть в свою собственную душу и решить серьезно, чем он был. Он еще далеко не достиг тех преклонных лет, когда сердце людей, привыкших к власти, обыкновенно отвердевает как камень. Он слушал Гордона, опустив глаза и отирая неволью бежавшие слезы. Поток этих слез его изумлял. Он почувствовал, что значит раскаяние.

— Я хочу,— сказал он, — непременно видеть того необыкновенного человека, о котором вы мне рассказывали. Судьба его трогает меня почти столько же, сколько и судьба несчастной жертвы, в смерти которой я виновен.

Гордон проводил его в комнату, где приор, тетушка Керкабон и аббат Сент-Ив хлопотали около Простяка, который в эту минуту опять лишился чувств.

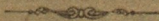
— Я причина ваших несчастий,— сказал Сен-Пуанж, — и обещаю вам посвятить всю мою жизнь на то, чтобы хоть сколько-нибудь исправить сделанное мною зло.

Первой мыслью Простяка, когда он увидел пред собою этого человека, было убить его одним ударом, а затем лишить жизни и себя. Ничто не могло быть натуральнее этого порыва. Но Простяк был безоружен и, сверх того, за ним смотрели во все глаза. Сен-Пуанж нимало не оскорбился тем презрительным отказом и знаками отвращения, какие были ему заявлены в ответ на его слова. Но время успокаивает малопо-малу все. Лувуа удалось сделать из Простяка прекрасного офицера. Он был принят в ряды армии, приветствуемый знаками всеобщего внимания и уважения, как не только храбрый воин но и глубоко умный, рассудительный человек. Он поселился в Париже под другим именем.

Воспоминание о былом, вызывая постоянно на глазах его поток горьких слез, з то же время служило ему некоторым утешением. Память о дорогой Сент-Ив сберег он до последней минуты жизни. Аббат Сент-Ив и приор получили прекрасные награды. Тетушка Керкабон убедилась, что племяннику ее, действительно, гораздо лучше было сделаться офицером, чем подьяком. Версальская приятельница Сент-Ив, кроме сбереженных ею на память серег, получила еще значительный подарок. Патер, «готовый к услугам всех», зажил попрежнему, припеваючи, благодаря никогда не прекращавшейся присылке всевозможных подношений в виде шоколада, кофе, сахару, лимонов и тому подобной благодати, вместе с душевнспасительными книгами в сафьянных переплетах, как, например, «Размышлений» преподобного Круазе, или «Цветника блаженных» *). Добряк Гордон прожил в теснейшей

дружбе с Простяком до самой своей смерти. Он получил также хорошее место и отрекся навсегда от своего прежнего учения о благодати. Он выбрал своим девизом слова, что добро может произойти даже от несчастия. А сколько на свете честных людей, которые с полным правом могут сказать, что в несчастьи нет ничего, кроме зла.

Перев. А. Соколовского.



КОЛЕН И ЖАНО.

Многие достойные доверия люди знали Жа-но и Колена, когда они учились в школе города Иссоара, в Оверне, славящегося своим лицеем и котлами. Жано был сыном известного барышника мулами; отец же Колена был известен в своем округе за честного фермера, кото-рый на четырех лошадях обрабатывал свой уча-сток и, будучи обременен многочисленными по-датями, к концу года оставался далеко не бога-тым человеком.

Среди овернцев Жано и Колен считались очень хорошими мальчиками. Оба они весьма любили друг друга, и между ними существовала та искренняя детская дружба, о которой так приятно бывает впоследствии вспомнить, когда при-ведется вновь свидеться.

Оба они уже кончали курс, когда однажды к Жано принесли от пориного трехцветное платье с красивым жилетом из лионского бархата. Вме-сте с платьем было письмо на имя господина де-ла Жанотьер. Колен любовался обновкой своего друга, но отнюдь ему не завидовал. Жано же принял важный вид, очень огорчивший Ко-лена. С того времени Жано перестал готовить уроки, каждую минуту любовался собою в зер-кале и ко всем относился пренебрежительно. В скором времени к нему однажды приехал лакей со вторым письмом, адресованным господину

маркизу де-ла Жанотьер. В письме этом заключалось приказание от его отца отправиться в Париж. Жано уселся в коляску и покровительственно протянул руку своему подошедшему проститься товарищу. На глазах почувствовавшего обиду Колена показались слезы, а Жано уехал полный сознания своего великопия.

Читателям, вероятно, интересно будет узнать, что отец Жано неожиданно разбогател. Вы спросите—как приобретаются богатства? Очень просто: нужно, чтобы повезло. Господин Жано обладал довольно приличною внешностью, жена его также отличалась миловидным лицом, сохранившим свежесть. Одно судебное дело, довольно разорительное, заставило их приехать в Париж. Там, волею судьбы, то возвеличивающей, то унижающей людей, они случайно познакомились с женою крупного поставщика на больницы военного ведомства. Про поставщика этого говорили, что он отправлял на тот свет в течение года больше людей, чем десятилетняя война. Сумев понравиться жене поставщика, Жано-отец сделался пайщиком в деле ее мужа, а кроме того занялся другими поставками. Быстро плывя по течению, этот человек в короткое время разбогател, вместо Жано стал зваться де-ла Жанотьером, а через полгода купил себе титул маркиза и выписал к себе сына, чтобы ввести его в лучшее парижское общество.

Верный чувству детской привязанности, Колен послал своему старому другу письменное поздравление, но вновь испеченный маркиз ничего ему не ответил: Колен заболел от огорчения.

Жанотьеры пригласили для своего сына учителя, но тот, хотя и обладал изысканной внешностью, ничего не знал сам, а потому и не мог

передать своему питомцу каких бы то ни было познаний.

Отцу, между тем, очень хотелось, чтобы молодой маркиз знал латинский язык, но маркиза этого не желала. Чтобы решить возникший между ними спор, они пригласили к обеду одного модного писателя, известного своими интересными рассказами.

— Вы знаете латинский язык, сударь,—начал свою речь хозяин,—и так как вы бываете при дворе...

— Я совсем не знаю латинского языка,—запротестовал гость,—и даже очень рад, что не знаю. Ведь ясно, что, не отвлекаясь изучением чужого языка, мы гораздо лучше говорим на своем. Обратите внимание на наших дам: ум у них настроен гораздо приятнее, чем у мужчин; их письма гораздо изысканнее, и все эти преимущества над нами зависят от того лишь, что они не знают латыни.

— Ну, разве не моя правда?!—воскликнула маркиза,—мое желание — видеть сына остроумным и имеющим успех в обществе; с латинским же языком он никуда бы не годился. Разве кто-либо пишет на латинском языке пьесы? разве говорят на суде и объясняются в любви по-латыни?

После столь убедительных доводов решено было не обременять юного маркиза изучением классиков... Но затем возникал вопрос, чему же его в таком случае обучать? Остановились, было, на географии.

— Стоит ли его заниматься, — заявил гувернер,—если г. Жано предпримет поездку в свои поместья, то кучера отлично знают дорогу и безошибочно доведут его, куда следует. И для

того, чтобы попасть из Парижа в Оверн, отнюдь не требуется делать каких бы то ни было вычислений широты и долготы.

— Верно,—согласился родитель,—но существует еще одна наука, называемая, если не ошибаюсь, астрономией...

— Ну, вот еще!—воскликнул гувернер:—кто теперь по звездам отыскивает путь, и что за надобность утомлять себя вычислениями затмений, когда сведения о них можно найти в любом календаре, где, кроме того, можно найти справки о праздниках, состоянии луны и возрасте всех европейских принцесс...

Хозяйка присоединилась к мнению гувернера. Ее сын был в восторге. Отец же колебался.

— Чему же вы рекомендуете обучать моего мальчика?—спросил он.

— Прежде всего, он должен стараться быть любезным,—ответил писатель,—и тогда он быстро постигнет все остальное. Искусству же нравиться он может научиться у своей мамы, без всякого труда.

При этих словах хозяйка заключила в свои объятия любезного невежду, провозгласив его величайшим в мире ученым. «Мой сын,—сказала она,—будет всецело обязан вам своим воспитанием. Однако, мне кажется, что не худо было бы ему немножко заняться историей». «Увы, сударыня,—ответил писатель.—Чему это послужит? Полезно и приятно быть знакомым только с современным положением вещей.—Вся древняя история есть не что иное, как собрание сомнительных басен. Новая же история так запутана, что разобраться в ней совершенно невозможно. И какое дело вашему сыну до учрежде-

ния при Карле Великом двенадцати перов *), или до того обстоятельства, что наследник его был косноязычен...» **)

— Вы говорите сухую правду, — вмешался учитель: — масса бесполезных познаний иссушает мозги наших детей, и самое нелепое, чем их заставляют заниматься, — это геометрия. Люди изучают какие-то кривые, точки и площади и помещают сотни тысяч линий там, где нельзя поместиться даже соломинке. Все это походит на шутку.

Хотя хозяева и не вполне поняли слова учителя, но оба сделали вид, что совершенно с ним согласны.

— Высокопоставленным лицам, — продолжал свою речь учитель, — совершенно незачем заниматься такими пустяками. Если им встретится надобность в землемере, они всегда его могут нанять. Если кому-либо из них захочется навести справку о древности своего рода, стоит только послать за ученым монахом. Равным образом, дворянам неприлично заниматься изящными искусствами, так как их предназначение лишь покровительствовать этим искусствам. Вашему сыну, сударьня, нужно только иметь развитой вкус, все остальное — дело ремесленников и художников, которые будут на него работать. Правильно говорят, что знатные лица (я разумею очень богатых) знают все, ничему не учась. Это происходит оттого, что они со временем научаются судить обо всем, что они заказывают и оплачивают.

*) Витазей.

**) Карлу Великому наследовал король Людовик, прозванный косноязычным.

Слово перешло к писателю.

— Вы совершенно верно изволили отметить, сударыня,—начал он,—что главное предназначение человека—иметь успех в обществе. Но разве этого успеха можно добиться научными занятиями? Разве принято в кругу благовоспитанных людей разговаривать о геометрии или астрономии? Кому из нас за ужином придет в голову беседовать о том, как какой-нибудь Клодиоп Лохматый переправлялся через Рейн?

— Ах, нет, нет,—испуганно воскликнула бывшая иногда в большом свете, маркиза,—мой сын ни в каком случае не должен заниматься изучением таких ужасных вещей. Но чему же, наконец, в таком случае, его следует обучать? Молодому человеку бывает иногда не лишним обнаружить какие-нибудь познания... Один аббат говорил мне, что существует такая наука... Я совсем забыла ее название. Оно такое трудное и начинается, если не ошибаюсь, на Г.

— «Геология»?—спросил кто-то.

— Ах, нет, слово это начинается на г, оканчивается на ка.

Присутствующие догадались, что речь шла о геральдике *).

— Это была очень интересная наука, сударыня,—сказал писатель,—но с тех пор, как вышло из моды изображать гербы на дверцах кареты, она потеряла свое значение. Кроме того, она сильно опошлилась с тех пор, как каждый пирюльник обзавелся своим собственным гербом...

*) Геология—наука о земле; Геральдика—изучение гербов дворянских родов.

Обсудив, таким образом, все остальные науки, присутствующие сошлись на том, что молодой маркиз будет посвящать свое время изучению танцев.

Жано одарен был от природы приятным голосом и научился петь водевили *). Этот талант в соединении с молодою приятной внешностью в особенности привлекал к нему женщин. Обладая большим запасом разных пьес, он напевал влюбленным в него дамам то «Венеру и Вакха», то «Ночь и день», то «Испуг Прелестницы». Он сочинял и стихи, которые отличались обыкновенно погрешностями в числе стоп, так что ему приходилось их отдавать за высокую цену на исправление.

Вообразив, что сын ее представляет собою выдающийся талант, маркиза стала приглашать к себе по вечерам все знаменитости Парижа.

В этом обществе, окончательно возмечтавший о себе юноша, перенял искусство говорить, не заботясь о содержании своей речи, и окончательно привык бездельничать. Поверив в его красноречие, отец стал даже сожалеть, что не обучил сына латинскому языку, потому что мог бы в таком случае, благодаря своим деньгам, купить для него хорошее место в судебном ведомстве.

Матери его более нравилась военная карьера и она решила выхлопотать своему сыну командование полком. В ожидании результата ее хлопот, сын увлекся любовными похождениями, которые обходятся иногда, как известно, гораздо дороже, чем содержание целого полка. Жано

*) Театральные пьесы легкого содержания, в которых разговор чередуется с пением.

расходовал много денег, но родители его, прикидываясь знатыми господами, жили еще шире.

Неподалеку от них жила одна молодая вдова, весьма хорошей фамилии, но с очень пошатнувшимся состоянием.

Вдова эта задумала прибрать к рукам богатства Жанотьеров, женив на себе молодого маркиза. Познакомившись с ним, она без труда вскружила ему голову, сделав вид, что и сама не вполне к нему равнодушна. Вполне овладев молодым человеком, она подружилась и с его родителями.

Свахой взялась быть одна соседняя старушка. Родителям понравилась мысль женить сына на такой знатной особе, и брак был быстро решен.

Знакомые стали поздравлять жениха и невесту. Подготавлился брачный контракт; шились новые платья; сочинялись поздравительные стихотворения.

Однажды утром Жако стоял на коленях перед своей любимой невестой и, нежно беседуя с ней, мечтал о своем будущем счастье. Внезапно в комнату к ним вбежал опрометью слуга Жанотьеров.

— Худые вести!—закричал он:— Судебные приставы хозяйничают в вашем доме! Кредиторы накладывают арест на имущество! Как я теперь получу свое жалованье!

— Что такое ты говоришь? Какая-токая история у нас случилась!—воскликнул Жако.

— Ах, идите туда скорее,—сказала невеста,—подите и накажите этих негодных людей!

Молодой человек поспешил домой, где застал полный разгром. Маркиз был уже аресто-

ван; слуги, захватив с собою, что попало, под руку, разбежались в разные стороны. Дома была одна только мать, беспомощная, без чьей либо поддержки, вся в слезах. У ней ничего не осталось, кроме воспоминаний о былом богатстве, о совершенных ошибках, и безумной растрате состояния.

Поплакав вместе с нею, молодой человек вспомнил о молодой вдове.

— Не следует приходить в отчаяние, — начал он, — невеста моя влюблена в меня без памяти. Она великодушна, богата, и нам, без сомнения, поможет. Я сейчас отправлюсь за нею.

Но, вернувшись к невесте, молодой человек застал у нее в будуаре молодого и очень любезного офицера.

— Как! это вы? — сказала вдова. — Зачем вы пришли сюда, господин де-ла-Жанотьер? Теперь вам необходимо быть около вашей матушки. Возвратитесь к ней и передайте, что я попрежнему к ней расположена и так как я нуждаюсь теперь в горничной, то с удовольствием могу предложить ей это место.

— Ты здоровый парень, — обратился к нему в свою очередь офицер: — не хочешь ли поступить в мою роту? Ты мог бы получить хороший наёк.

Пораженный этим оскорблением, маркиз отправился к своему бывшему наставнику излить ему свое горе и спросить совета. Тот предложил ему сделаться гувернером.

— Но я ничего не знаю! — воскликнул Жано. — я ничему от вас не научился.

— В таком случае займитесь сочинительством и примитесь за романы. Это даёт теперь хороший заработок, — предложил сидевший там гость.

В отчаянии молодой человек кинулся к духовнику маркизы. Монах этот пользовался большой известностью и был духовным отцом лишь у очень высокопоставленных дам. Увидев Жано, он вышел его встретить.

— Что случилось, господин маркиз? Где же ваш экипаж? Уж не произошло ли чего-нибудь с вашей уважаемой матушкой?

Несчастный Жано сообщил ему о постигшей их беде. Пока юноша рассказывал, лицо аббата становилось все холоднее и равнодушнее.

— Мой сын, покоритесь Божьей воле: богатство делает черствыми людские сердца. Передайте вашей мамаше, что ей следует видеть особенную милость Провидения в посланном ей испытании. Ведь, Господь удостоил ее милости стать нищей!

— Совершенно верно, батюшка.

— Тем лучше, ибо она теперь может надеяться на спасение своей души.

— Но нельзя ли также сделать что-либо для нее на этом свете?

— Прощайте, сын мой, меня ждет одна придворная дама.

Жано едва не упал в обморок. Так же холодно обошлись с ним и все остальные его друзья, так что в короткий срок он лучше узнал свет, чем если бы посвятил его изучению всю жизнь.

В то время, как Жано, стоя где-то на улице, чувствовал себя самым несчастным человеком на свете, мимо него проезжала медленным шагом старинная повозка с потертым кожаным верхом; за повозкой двигались четыре тяжело нагруженные фуры.

Лошадьми повозки правил молодой, скромо

одетый, человек с открытым располагающим круглым лицом.

Рядом с ним сидела его молоденькая смуглолицая жена. В то время, как экипаж тихо двигался мимо маркиза, сидевший в ней человек пристально вглядывался в его печальное лицо.

— Господи, — воскликнул он, — неужели это Жано?!

И тотчас же, остановив лошадей, молодой человек соскочил на землю и кинулся обнимать маркиза.

Жано узнал в нем друга своего детства и густо покраснел от смущения.

— Ты отвернулся от нас, — воскликнул Колен: — но какой бы ни сделался ты важной особой, я всегда буду любить тебя и помнить.

Проливая слезы, взволнованный Жано начал ему рассказывать про свое несчастье.

— Отправимся на постоянный двор, где я теперь остановился; там мы пообедаем и тебе удобнее будет рассказывать, — предложил Колен, — а пока познакомься с моей женой.

Втроем они пошли по направлению к гостинице. Везы ехали сзади.

— Что это за груз и кому он принадлежит? — спросил Жано.

— Это все наше. Теперь мы прибыли с нашей родины. У меня там есть небольшой лудильный и медный завод. Я женился на дочери торговца домашнею посудой. Нам с ней много приходится работать, и Бог благославляет наши труды. Мы живем счастливо и очень рады будем тебе помочь. Позабудь, что ты был маркизом. Дома я обучу тебя нашему ремеслу. Оно вовсе не так трудно. Мы будем вместе работать

и чудесно будем коротать время в нашей родимой Оверни!

Печаль и радость, нежность и стыд сменяли друг друга в душе потрясенного Жано.

— От меня отвернулись все мои высокопоставленные друзья,—рассуждал он сам с собою,—и один лишь Колен, которому я изменил, пришел мне теперь на помощь.

В сердце Жано проснулись те добрые чувства, которые еще не были загублены в нем светскою жизнью. Он понял, что не может вместе с тем покинуть своих родителей.

— Я позабочусь о твоей матери,—решительно произнес Колен,—а о твоём отце мы подумаем, как бы его освободить из тюрьмы. Мне кажется даже, что я нечто придумал. Его заимодавцы, видя, что у него ничего не осталось, вероятно, удовольствуются немногим... Я беру на себя объяснения с ними...

И, действительно, Колен освободил из тюрьмы отца своего друга. Жано вернулся вместе с родителями на родину, и принялись они за свое прежнее дело.

Жано вскоре женился на сестре Колена. Последняя была похожа характером на своего брата, и Жано был очень счастлив с нею.

Таким образом, семейство Жано наглядно убедилось, что счастье не в тщеславии.

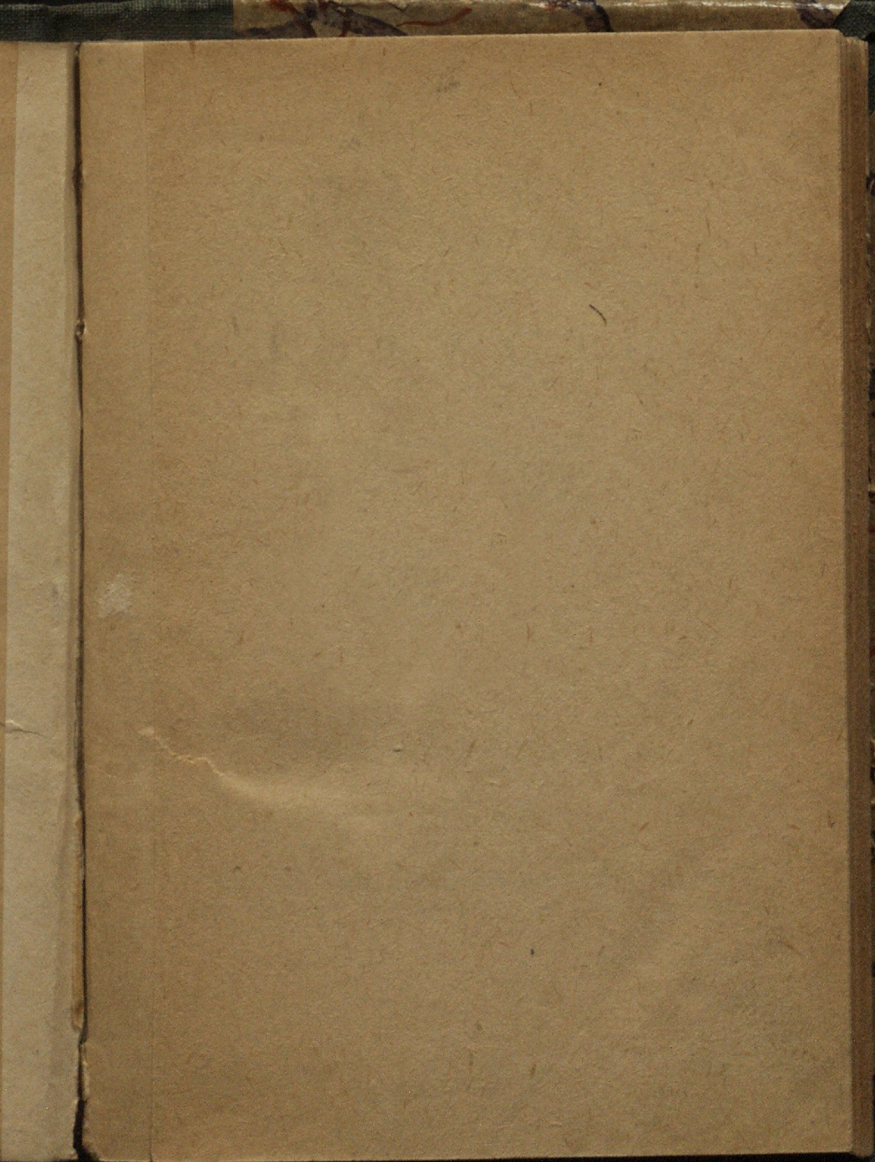
Перевод N. N.



ОГЛАВЛЕНІЕ

Предисловіе Ф. Батюшкова . . .	5—13
О добром браминѣ. Пер. Н. Н. . . .	15—18
Простякъ. Пер. А. Соколовскаго . . .	19—123
Колен и Жано. Пер. Н. Н. . . .	124—135

—♦♦♦♦♦—



ИЗДАТЕЛЬСТВО
"ВСЕМИРНАЯ ЛИТЕРАТУРА"
ПЕТЕРБУРГ
Моховая №136.

5 — ОКТ 1942

ЦЕНА 14 РУБ.